



Нина Халикова

**СЕВЕРНАЯ
ФЕДРА**

Нина Халикова
Северная Федра

«Фонд развития конфликтологии»

2019

УДК 821.161
ББК 84(2=411.2)6

Халикова Н. Н.

Северная Федра / Н. Н. Халикова — «Фонд развития
конфликтологии», 2019

ISBN 978-5-6043166-4-1

Новый роман петербургской писательницы Нины Халиковой – это настоящее завораживающее путешествие по лабиринтам человеческих мыслей и чувств. Две сюжетные линии, написанные разным стилем, – современный мир и древние славяне. Что общего между успешной актрисой Ингой Берг и урманской княжной Эфандой, жившей в IX веке? Любовь без надежды на взаимность, чистота помыслов или порочное желание обладать вопреки всему? Неустойчивость натуры, эгоизм или всё-таки сила духа? Ведь нужно быть по-настоящему сильным человеком, чтобы отпустить того, кого любишь.

УДК 821.161
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-6043166-4-1

© Халикова Н. Н., 2019
© Фонд развития
конфликтологии, 2019

Содержание

Вместо предисловия	6
Северная Федра	7
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Нина Халикова Северная Федра

На обложке – Лаура Пицхелаури, фото Оксаны Ивлевой

© Н. Н. Халикова, 2019

© Фонд развития конфликтологии, 2019



Нина Николаевна Халикова

Вместо предисловия

Одна известная героиня романа Франсуаза Саган говорила: всеми человеческими поступками движут два чувства – любовь и одиночество. И «Северная Федра» именно об этом. Уставшая от сытой рафинированной жизни актриса Инга влюбляется в своего пасынка Ипполита – юного музыкального гения. Он, как чистое вдумчивое существо, не смеющее ответить взаимностью, оставляет героиню в расстроенных чувствах – в одиночестве. Душный мир роскоши и глянца, где существует главная героиня, – это мир без истории, без прошлого, где всегда есть только настоящее, и только за деньги. Любовь выбивает Ингу из капиталистического безвременья: ее страсть связывает ее судьбу с двумя женщинами из прошлого – дочерью древнегреческого царя Федрой и урманской княжной Эфандой. С этой встречи и начинается подлинная история проживания любви главной героиней...

Любить и обладать – вот наш девиз сегодня. В мире «Северной Федры» любовь – это то, что переносит вас из мира профанного, будничного в мир сакральный, в мир тонких эмоций и чувств. Вжиться в историю женских трагических судеб прошлого, начать снова замечать красоту природы, ощущать мягкость земли и вкус хлеба... Эта книга – как окно в подлинную реальность, о которой мы совсем забыли. И неважно, наблюдаем ли мы жизнь сквозь окно комфортабельного автомобиля класса люкс, как главная героиня, или сквозь запотевшее окно маршрутки, как ее домработница. Мы рискуем всю жизнь провести в состоянии сна по отношению к реальности, если сами не найдем повод проснуться.

Екатерина Наумова

доктор философских наук

Северная Федра

*...Страишься, чтоб небеса, враждебные тебе,
Не вняли тотчас же безжалостной мольбе,
Чтоб жертвой ты не стал своей же злобы ярой:
Нередко дар богов бывает божьей карой...*

Ж. Расин

*...В мире горы есть и долины есть,
В мире хоры есть и низины есть,
В мире моры есть и лавины есть,
В мире боги есть и богини есть.*

*<...> Горы сдвигать – людям ли?
Те орудуют. Ты? Орудие.
<...> Нет виновного. Все невинные.*

М. Цветаева

* * *

К вечеру небо зарычало как прогневанный, разъяренный зверь, предвещающая грозу. Вот-вот долгожданный шум тяжелых дождевых капель обрушится на запыленную летнюю листву, на разогретые крыши и автомобильные капоты, но пока воздух накален до предела.

В съемочном павильоне всю работу кондиционер, но все равно было довольно душно, стоял резкий запах пыли и теплого линолеума, и царил скука, а это уже было из рук вон плохо. Скучали все: и декораторы, и гримеры, и осветители, и костюмеры, и операторы, – скучал и сам режиссер Илья Горский. Все словно слегка недоумевали, будто не понимая толком, что они, собственно говоря, здесь делают.

– Господа, господа, прошу, не расслабляйтесь, мы еще не закончили! – громогласно, но не слишком строго напомнил всем режиссер, откинувшись на спинку стула. Однако его безобидные слова прозвучали как издевательство.

В свои неполные сорок лет Илья Горский был уже известен не только скверным характером, но и рядом приличных фильмов. Фильмы, действительно, были неглупые, из тех, что не стыдно показать пресыщенной образованной публике, а характер режиссера был и впрямь непрост. Илья Горский вел себя таким особым образом, имел такие странные манеры, что производил на окружающих нередко двойное впечатление: то его принимали за элегантного эстета, а порою он вполне мог показаться воплощением грубой мужской силы и даже невежества. Зато он никогда не позволял себе критиковать отсутствующих, что в артистической среде было редкостью.

Многие актеры жаловались на его эксцентрические выходки, оскорбительные замечания, на дикую необузданность во время съемок, но, когда съемки заканчивались, они с изумлением и грустной тоской мечтали вновь сниматься у него. Илья Горский был своевольный, темпераментный, далекий от политики холостяк, высоченный, с умными, широко поставленными глазами и очками в золотой оправе, сдвинутыми на высокий лоб. Этот человек умел настоять на

своем, молодежь не развращал, к красивым женщинам был равнодушен, впрочем, к мужчинам тоже. В свет выходил крайне редко и в самой неожиданной компании, поэтому про его личную жизнь всегда ходили самые разнообразные слухи и слухи, по большей части не имеющие отношения к реальности. Горский и здесь производил парадоксально-двойное впечатление: одинокого казановы и распутного однолюба. И никак не наоборот. По крайней мере, так могло показаться со стороны.

Зарабатывал Горский быстро и легко, и так же легко и быстро просаживал заработанное. Роковые красавицы очертя голову в него влюблялись, а когда он давал им отставку, долго и безутешно проливали слезы. За глаза, почти шепотом его называли «Козленком», и вовсе не потому, что он вел себя каким-то особенным образом, а из-за его длинной жиденькой бородачки, заплетенной в две немыслимые косицы. Он походил бы на Рильке, если бы не его ужасная борода. Словом, Илья не оставлял равнодушным никого: кто-то относился к нему с беспредельным уважением, кто-то с ненавистью, а некоторые даже с симпатией.

– Инга, ты готова? – прогремел Горский. – Всем внимание! Через паузу можно!

– Я не готова, – зазвенел хриловато-медовый женский голос с легким скандинавским акцентом.

Горский бросил быстрый, но внимательный взгляд:

– Что-то не так?

Инга Берг, молодая, рыжеволосая актриса, исполнительница главной роли в сериале «Фиалки в шампанском», была чем-то недовольна. Когда-то давно, чего греха таить, у Горского и Инги произошел краткосрочный, но непростой роман, к сегодняшним капризам вряд ли имевший какое-то отношение. Горский знал, что в глубине души Инга слишком разумна, деликатна и хорошо воспитанна, чтобы позволять подобные вольности на работе. Он знал, что у всех профессионалов есть глубоко укоренившаяся привычка не мешать работу с... с... словом, не мешать ее черт знает с чем. А Инга – истинная правда – профессионал.

Инга стояла в брючном шелковом костюме цвета беж рядом со своим партнером по фильму, высоким и статным брутальным плейбоем Димой Смайликом. По сценарию Инга испытывала пылкую страсть к этому обворожительному прожигателю жизни, а на деле, как это не редко бывает, – устойчивое отвращение. Сегодня снимали любовную сцену с затяжными объятиями и поцелуями, а Дима, как назло, был всклокочен и помят больше обычного. Кроме того, от него так воняло застоявшимся перегаром, что Ингу начинал медленно, но верно скручивать тошнотворный спазм.

– Мне нужен перерыв, – Инга сказала это с упрямством в голосе и чуть громче, чем следовало бы.

– Тебе нехорошо?

– Меня тошнит.

Ее действительно тошнило и не только от Димы.

Она устала от пошлости и глупости текста, от растворимого кофе в бумажных стаканчиках, от крохотных порционных сливок в пластике, от обветренных бутербродов с сыром, и еще от того, что ей приходилось воспроизводить плоды чьей-то дебильной фантазии. Вдобавок ко всему, ее мучило от дурацкого самодовольства, написанного на потасканном лице Димы, от его рук с полированными ногтями, от его выщипанных бровей, от необузданных проявлений его животной чувственности, от безразличия и неискренности. И от собственной никчемности ее тоже выворачивало. Вот. На этом, пожалуй, можно и остановиться.

Дима покорно стоял тут же, делал вид, что силится что-то уразуметь, но не понимал ровным счетом ничего. Почему Инга Берг привередничает? Почему в кадре она не отвечает на его сногшибательные поцелуи и не воспламеняется в его объятиях, как все нормальные женщины? Он тут изо всех сил старается быть понежнее, а ей хоть бы что, ей словно на него наплевать. Почему, в конце концов, от его предложения переспать она вежливо отказалась? Как это

прикажете понимать? Что вообще здесь происходит? Дима был скорее удивлен, чем возмущен такой необычной женской реакцией. У него даже возникло подозрение, что он сегодня плохо выглядит, правда, всего лишь на одно мгновение, ибо он, Дима Смайлик, безупречен и имеет все основания приходить в восторг от собственной персоны. И так, Дима стоял рядом с Ингой, тщетно прислушивался к своему внутреннему голосу в надежде на какие-то разъяснения, но тот молчал, видимо приходил в себя после вчерашнего.

– Ладно, Инга, мы примем в расчет твою чувствительность, – понимая, что ей невозможно сопротивляться, сказал Горский с явным усилием, которого, кроме Инги, никто не заметил. – Перерыв десять минут.

Инга повернулась ко всем спиной и, оставив после себя тающий аромат жасмина, провожаемая недоумевающими взглядами, исчезла в темной глубине павильона. Горский лениво поднялся со своего стула и пошел за ней в гримерку.

– Ну что? – спросил Горский, заходя в крохотную комнатушку, заполненную зеркалами, киноафишами и плакатами, гладильными досками, стойками с развешенными на них костюмами и ослепительно ярким светом.

– Насчет чего?

– Утешит тебя это или расстроит – не знаю, и знать не хочу, но снимать сегодня будем долго.

Инга хладнокровно промолчала. Она пыталась открыть свою переполненную косметичку, чтобы извлечь оттуда пудреницу и на всякий случай припудрить и без того идеальное лицо и шею.

– Тебе что, не нравится предмет твоей страсти? – равнодушно спросил Горский.

– Он слишком слащав, а я не люблю сладкое, – так же равнодушно обронила Инга. Еще она хотела добавить, что ей осточертело прижиматься к потной шее этого провинциального соблазнителя, потной, да еще к тому же покрытой какими-то дурацкими татуировками.

– Ну, знаешь ли, моя умница... Мне неинтересно, что ты любишь, а чего нет. Здесь ты на работе, так что изволь работать, а не стоять с таким видом, будто делаешь благое дело или оказываешь любезность целому миру, – по-прежнему равнодушным тоном сказал Илья. Он прекрасно понимал, что каждая приличная и красивая актриса капризна. Это право красоты и молодости.

– А мне неинтересно здесь работать, Илюшенька, – Инга демонстративно пропустила его колкость мимо ушей, рассчитывая немного подразнить режиссера.

– Где это «здесь»? – беззлобно прошипел Горский, и Инга увидела его приподнятую бровь и насмешливый взгляд. – На что дают деньги, то и снимаем. Ты думаешь, мне это нравится? Ни боже мой! Я бы и сам, может, предпочел Вертера или Рюрика, но... – он хотел было развеселить Ингу и для пущей убедительности закусить губу, но передумал. – Сам себя чувствую как баран в загоне. Ну и что? Вот и приходится растрчивать свой «талантище» в погоне за куском хлеба. А что делать?

– Илюшенька, зачем мы снимаем этот бред, кому он нужен? – скромно спросила Инга, изображая наивность в золотисто-зеленых глазах.

– Людям нужен, моя умница, людям он нужен, – теперь его голос неприятно и уже нетерпеливо заскрипел.

– Но ведь все это искусственно и неправдоподобно. В жизни так не бывает.

– Не бывает? Ай-ай-ай. А ты не заботься о внешнем правдоподобии, – Горский возвел глаза к потолку. – Людям нужен отдых, а красивая наивная сказка про любовь, про верность – это и есть тот самый долгожданный релакс. Тут тебе и бескорыстный восторг, и надежда на лучшее будущее, если хочешь.

– А как же реальность?

– Ты сегодня решила меня добить? – еще беззлобно спросил режиссер. – Ну, вот скажи, на кой хрен уставшему человеку после рабочего дня смотреть кино про реальность? А? Одолела его эта реальность. Он эту говенную реальность каждый день большим ковшом хлебает, он сыт по горло этой реальностью. Налоги, пьянство, разврат, предательство, болезни, немощность... и прочие реалии нашего мира... а потом человек приходит домой, включает телевизор, а там ему показывают фильм про пьянство, разврат, налоги, нищету, болезни. И каждый режиссер ведь, как назло, считает своим долгом изображать пороки как можно правдивее, а то и безобразнее, чем они есть на самом деле. А? И что это? Скажи, моя умница, какая польза простому человеку от этой реальности?

– Илья! – немного наигранно попыталась возразить Инга, но Горский это принял за чистую монету.

– Пусть, девочка, народ лучше посмотрит «Фиалки в шампанском», полюбуется твоей прелестной мордашкой, отдохнет хоть часок-другой, нервы свои истрепанные успокоит. От сказок люди не устают, сказками люди лечатся, а от реальности... – Горский безнадежно махнул рукой.

– Но я ведь актриса, – Инга начала словно оправдываться, при этом нарочито нервно поправляя на шее зеленый шарфик от «Луи Витон», чудесно контрастирующий с ее чистыми зелеными глазами, – я могу сыграть любую роль, я могу придать себе любую форму, и то, что ты говоришь, не имеет никакого...

– Что у тебя в голове? Послушай, умница моя, – не дал ей договорить Горский. Все-таки она его зацепила за живое. Он хотел было сказать, что даже если она с изящной непринужденностью промотает все состояние мужа, пытаясь добиться определенного статуса, то все равно останется в плену своей невыносимой неврастении и одиночества. А желание царить и блистать так и останется нереализованным. Но он взял себя в руки и сдержался. – Еще годик-другой, и на смену тебе придут сотни других, тех, что посвежее. Так что умерь свой пыл, «Фиалки в шампанском» – это не самое худшее, что может с тобой приключиться.

Эти слова показались Инге на редкость бестактными, и ей стоило больших усилий сдержаться и не вlepить ему пощечину. «Все-таки, – подумала она ехидно, – Козлом его нарекли отнюдь не за косички на бородачке. Так ему и надо. Пусть чувствует себя волком в овчарне, но я-то знаю, кто он на самом деле».

– Сердечное спасибо, Илюшенька, за чудесный разговор, – ее голос прозвучал чуточку насмешливо, с прохладцей.

Инга не улавливала логики ни в его словах, ни в его поведении: если она так уж плоха, то зачем он ее снимает? А если предположить, что она не совсем бездарна, то зачем он ей все время хамит? Или это отголоски тех самых ушедших отношений? Хотя для Инги выпады Ильи не имели особой остроты, однако настроение ей портили. Почему она не бунтовала в ответ? А зачем ей было бунтовать? Пусть она не разглядела в нем мужчину, но пренебрегать им как режиссером было бы ошибкой. Общение с ним избавляло ее от необходимости заботиться о рабочих контрактах. Очередь из режиссеров к ней не стояла, а на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Ладно, пусть показывает характер. Она еще раз поправила свой шарфик и направилась к выходу.

– А ты чего же ждала, безудержного потока похвал? – язвительно спросил Горский.

– От тебя? Ни боже мой, – передразнила его Инга.

– Я слишком уважаю тебя, чтобы лицемерить, – он улыбнулся, как Кларк Гейбл в «Унесенных ветром» во время сцены в библиотеке. – А теперь иди, красавица, на свое место, и перестань строить из себя уставший Голливуд и страдать из-за мелодраматических придумок. Работать надо, а не фигней страдать. А впрочем, смотри сама, я тебя не принуждаю.

Инга невозмутимо улыбнулась и подумала, что можно иметь какие угодно оскорбительные мысли, но воспитанные люди не высказывают их вслух. Это происходит, скорее всего, от

бессилия или неуверенности. Уверенные в себе мужчины так себя не ведут, особенно с бывшими. Откуда у нее взялась такая мысль? Когда-то Горский был к ней внимателен и нежен. После расставания все поменялось, превратилось в прах и пепел. Ладно, прошлое – прошлым, а работа есть работа. Здесь Инга Илью не всегда понимала, да и не пыталась понять.

– Ты просто невозможен, – сказала Инга бесцветным голосом и вышла из примерки.

* * *

Домой Инга Берг возвращалась в испорченном настроении. Она жила в местечке, слишком живописном, чтобы грустить, но настроение Инги было хуже некуда.

Ее белый трехэтажный дом с отполированным мраморным цоколем стоял совсем недалеко от кромки воды, на некотором возвышении, и был развернут фасадом к открытому морю и овеялся пряными ароматами осени и всеми настойчивыми северными ветрами. А что может быть прекраснее, как не дом у моря?

Дом был на удивление хорош – скромный, без вычурности, с арочными окнами и расстеленной под ними ухоженной лужайкой. Он скромно прятался от любопытных глаз за березами и старыми коричневыми соснами, стоявшими полукругом.

Вдоль всего каменистого побережья раскинулось много красивых домов, как по-настоящему роскошных, так и с претензией на роскошь. Но Инге же больше всего нравился ее белый дом, с белым мраморным камином, множеством гостевых комнат, доведенных до совершенного блеска, с обилием картин, скульптур, закутков с диванами, с двумя лестницами – широкой основной с одной стороны и узенькой винтовой с другой – и баснословно дорогим современным лифтом, которым, правда, никто не пользовался.

Инге доставляло особое удовольствие время от времени бросать взгляд из окон своей спальни на серебристо-зеленую необозримую рябь, разглядывать необустроенный пустынный пляж, ей нравилось наблюдать, как тугой порывистый ветер гнет старые деревья вдоль безлюдного побережья. Побережье всегда оставалось пустым. И даже в самые жаркие дни здесь никто не купался – из-за скользкого каменного дна, колющего ноги. Песчаная полоска была совсем узкой и начиналась где-то далеко, за много метров от пляжа. Здесь не было ни причалов для яхт, ни скамеек, ни зонтиков, ни наблюдательных вышек, словом – ничего, самый настоящий первобытный пляж. Инга умела любоваться ленивым спокойствием своей загородной жизни... но не сегодня.

Замуж Инга выходила уже будучи актрисой, правда, с весьма посредственными ролями. Когда-то она даже имела счастье служить в театре, но крайне недолго, хотя надеялась остаться там на всю жизнь. Не сложилось. Когда ее приняли, она, разумеется, была на седьмом небе, и ей казалось, что теперь судьба ее окончательно определилась и никаких помех для счастья быть не может.

Однако все оказалось не так безоблачно, как нафантазировала себе юная Инга Берг. На тех подмостках уже имелись свои примы и музы, вдохновляющие режиссеров и художественных руководителей, и примы эти быстро указывали новичкам их место. Молодых и близко не подпускали к приличным ролям. Словом, после нескольких весьма прозаичных закулисных сцен, однако очень неприятных для Инги, она покинула театр, унося с собой тоску по несыгранным ролям. И эта тоска еще долго преследовала ее. Поэтому почти каждый вечер, прежде чем лечь в постель, она вставала перед крохотным зеркалом в своей квартирке и зачем-то вслух читала монолог Федры.

Ее артистическая карьера началась скромно, была перенасыщена несправедливостями и еле-еле давала средства к существованию. Хотя трудолюбивая Инга Берг бралась за любой проект – масштабный или мизерный, театральный или откровенно коммерческий. В то время Инга не страдала профессиональным высокомерием, и любая работа казалась ей подходящей.

Однако платили ей так смехотворно мало, что бюджет постоянно балансировал на острие ножа, и даже самые простые покупки иногда затрудняли. Состоятельных поклонников ей почему-то не попадалось, и она чувствовала себя затерянной, затертой в глянцево-бурном кинематографическом мире искрящихся красок, а на деле так и обдающим ледяным холодком.

Так, в сладких мечтах и менее сладком безденежье, прошло несколько лет. Вокруг ничего не менялось, но некоторым образом переменялась сама Инга. Если юная актриса Инга Берг стремилась к одной-единственной на свете цели – к славе, то на двадцать пятом или двадцать шестом году жизни ее постоянно возбужденное воображение стало рисовать ей нечто совсем иное и не менее ценное – деньги.

Теперь Инге очень хотелось разбогатеть, и причем неважно каким способом. «Можно ведь зарабатывать жалкие крохи тяжким трудом, – рассуждала Инга, – а можно отважиться на рискованный прыжок, и тогда финансовые трудности решатся одним махом». Вот только какой это будет прыжок, и каким именно махом, она долго не могла сообразить, но от своих притязаний на роскошь отказываться не собиралась. Она создана для праздника, а безденежье и трудности – это не ее стихия.

Поэтому замуж она вышла не колеблясь, вышла, можно сказать, от нужды (а не от гипертрофированной алчности, упаси боже), вышла оттого, что ей надоело экономить каждую каплю духов, считать мелочь ради чашки кофе в каком-нибудь затрапезном кафе, надоело ездить на дешевой старой развалюхе, дурно пахнувшей и без конца ломающейся.

Инга была бедна, и бедности своей стыдилась. Она ее прятала, скрывала, как непристойную болезнь, и втайне надеялась рано или поздно от нее исцелиться раз и навсегда. Ведь хотелось-то Инге совсем иного, хотелось блистать в обществе, видеть вокруг себя восхищенные взгляды, производить как можно больше шума, хотелось давать пышные званые обеды, – неспешные обеды за огромным овальным или круглым столом карельской березы или мореного дуба, столом, сервированным тончайшим фарфором, старинным серебром и непременно подсвеченным бронзовыми канделябрами. Хоть Инга и не была провинциалкой, но замашки имела самые что ни на есть провинциальные. Она любила дорогие вещи. Маленькая фантазерка мечтала, как после обеда она станет развлекать своих гостей, наигрывая им на белом рояле несложные сентиментальные вещицы.

Она закрывала глаза и буквально все видела: и картины на стенах, и статуэтки на ампирном камине, и дорогую сумочку от Louis Vuitton, до отказа набитую крупными купюрами, сто-долларовыми банкнотами и, разумеется, кредитными картами, она видела, как после многочисленных вечеринок будет возвращаться на побережье, в свой роскошный дом с лифтом, как устало закутается в норковый или соболий плед, как будет дремать на заднем сидении дорогого автомобиля, прислонившись головой к кожаной обивке салона, такой приятной и такой уютной.

Хотелось не только подражать известным богатым женщинам, которых Инга разглядывала с плебейским благоговением, но и самой задавать тон. Кто-то сказал, что не в деньгах счастье, ну и на здоровье, Инге Берг деньги нужны вовсе не для счастья. Они ей были нужны для удобства и комфорта, чтобы их тратить, а против этого нечего возразить. О морали и нравственности в этом смысле она старалась не думать, поскольку считала, что такие рассуждения – праздный способ проживания времени, и позволить себе его можно лишь тогда, когда у тебя есть надежный ежегодный доход. И толковать тут не о чем. Поэтому будущего мужа Инга рисовала в своем воображении с некоторым опьянением, возлагала на него самые честолюбивые надежды, видела в нем то крупного бизнесмена, то министра, и очень рассчитывала на его протекцию и финансовые возможности.

Будущий муж, Алексей Иванович Сотников, оказался старше Инги почти на тридцать лет, но для нее не имел значения его возраст. Подумаешь, возраст! Его возраст ни в коей мере не умалял ни его престижа, ни его денег, а Инга как раз и стремилась к благам, которые дают

деньги, и к возможности ими пользоваться. К тому же Сотников был щедр и необыкновенно мил.

В глазах Инги Алексей Иванович выглядел приятным и вежливым мужчиной, предупредительно уступающим ее разнообразным женским прихотям, ухаживающим с некоторым старомодным изяществом, а в силу возраста уже не требующим слишком пылкой физической любви. Ну чем не жених?! Он ей понравился.

В сущности, она к нему неплохо относилась, а через некоторое время даже по-своему привязалась, как к близкому человеку. Становиться матерью Инга никогда не хотела, и муж не укорял ее за то, что она отказалась подарить ему рыжеволосых детишек. У Алексея Ивановича уже был взрослый сын от предыдущего брака, а Инге и самой нравилось играть роль маленькой беззаботной девочки. Эту роль она хорошо отрепетировала и с блеском исполняла. Короче говоря, супруги не нуждались в продолжении рода, и это их объединяло.

Будучи необыкновенно красивой женщиной, Инга Берг красотой своей пользовалась только на съемочной площадке, а в жизни была верна Алексею Ивановичу. Девять долгих лет супружества Инга внимала лишь голосу своего расчетливого рассудка и подавляла даже самые легкие всполохи неукротимой женской фантазии. Все девять лет она нежилась в ленивом безмятежном гнездышке, укрытом от жизненных бурь, и жила словно во сне. Инга пребывала в уютной сытости, в затишье и покое, она не уставала наслаждаться равномерно-мягким климатом своего долгожданного семейного счастья, и более ничего не хотела.

* * *

Тридцать с лишним лет тому назад Алексей Иванович Сотников запрятал подальше диплом геолога и, вместо того чтобы дышать себе на здоровье свежим воздухом в геолого-разведочных экспедициях, обратил пристальный взор к пыльному, хлопотному и довольно суетному городскому строительству. Да, именно так, Алексей Иванович был строителем. Он хорошо знал этот рынок со всеми его законодательно установленными правилами, со всеми тайными подводными течениями, со всеми тяготами и неразберихой между заказчиками и подрядчиками. Сотников был знаком со всеми крупнейшими застройщиками страны (да и сам, по правде говоря, был среди них), он принимал участие в любом предприятии, выигрывал большие тендеры, а те, что помельче, организовывал сам; он буквально подстерегал любой удобный случай нажиться, однако ж нельзя сказать, что был жаден до денег. К этой стороне жизни Алексей Иванович относился спокойно, но не без уважения. Скорее всего, делал он свое дело ради самого дела, и делал его превосходно, а потому получал от этого немалое удовольствие, а заодно и немалый доход. Помимо всего сказанного, был Алексей Иванович и уполномоченным по защите прав предпринимателей, и членом совета Торгово-промышленной палаты, и председателем Центра общественных процедур и т. д. и т. п.

Несмотря на свои солидные шестьдесят восемь лет, Алексей Иванович был стройным, поджарым и довольно привлекательным мужчиной, с правильными чертами лица и щеголевой улыбкой, напоминая и английского аристократа, и элегантного французского франта. Издавна Сотников вполне бы мог сойти за представительного сорокалетнего мужчину с тонким кольцом на безымянном пальце правой руки. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что время не делает исключений даже для самых обаятельных и богатых людей. Вблизи Алексей Иванович выглядел на все положенные семьдесят. Седые и не слишком густые волосы, пожелтевшие белки глаз, усталый холодный взгляд, хотя и не лишенный обаятельного благородства, узловатая желтая шея, узловатые желтые руки, – словом, время не обошло его стороной и усердно над ним потрудились. Понимал он это или нет, трудно сказать, однако девять лет назад женился на женщине вдвое младше себя. Судя по всему, Сотников не желал мириться со старостью, а молодая женщина, как ни крути, – это и есть знак того, что ты обманул время.

Две первые супруги остались далеко в прошлом, и на рубеже шестидесятилетия Алексей Иванович женился в третий раз на прехорошенькой рыжеволосой актрисе с очень белыми зубами и скандинавскими корнями – Инге Берг. В то время сама Инга рассказывала будущему супругу, что когда-то в детстве подолгу жила недалеко от Бергена, на небольшой ферме, с родственниками по отцовской линии. Родственники эти откровенно плохо говорили по-русски, с сильным скандинавским акцентом. Инга же после долгого пребывания в их кругу превращалась в смешную деревенскую девчонку, и ее звонкий девичий голосок начинал перемешивать русские слова с норвежскими. По возвращении домой это быстро проходило, но потом вновь и вновь повторялось. В конце концов легкий пикантный акцент так и остался при юной Инге. Именно он очень понравился Алексею Ивановичу.

Сотникова всегда пугали хорошо организованные, деловые, мускулисто-спортивные женщины. Инга же была совершеннейшей их противоположностью. Без всякой эмансипации, с мягким – как обласканный летним солнцем золотисто-спелый персик – телом и необузданной душой. Она как две капли воды походила на боттичеллевскую Венеру, сошедшую с полотна, правда, с небольшим скандинавским акцентом.

В то время Инга казалась Сотникову неуловимой, неукротимой, огненно-рыжей птицей счастья, не мечтать о которой может только глупец, а Алексей Иванович глупцом себя не считал...

Сегодня домработница Таисия Николаевна накрыла обед на кухне. Домработница была женщиной чопорной, статной, полноватой ширококостной, с узким, словно ножом прорезанным ртом. Плечи ее были немного приподняты, а небольшая голова немного в них втянута. Зато она не была обделена тактичными манерами, непроницаемыми глазами, скупыми эмоциями и в конечном счете была довольно услужлива и исполнительна. Для полноты образа недоставало только накрахмаленного передника в сочетании с белым чепчиком.

Таисия Николаевна служила в доме довольно давно, доставшись Сотникову по наследству от его первой жены. Таисии исполнился шестьдесят один год, и больше половины своей жизни она проработала на Сотникова, взвалив на свои нелепые вздернутые плечи все домашнее хозяйство. Алексей Иванович считал ее скучной и бесцветной особой, а потому незамеченной фигурой в доме. С напускной ворчливой строгостью и неусыпной бдительностью Таисия Николаевна следила, чтобы Алексей Иванович по утрам ел свежесваренную кашку, а по вечерам не пил слишком много виски, чтобы спал он в прохладной, хорошо проветренной комнате и непременно под теплым одеялом, чтобы днем не забывал пообедать, а по выходным совершать пешие прогулки и чтоб несколько раз в год обязательно выезжал на море. Сотников покорно следовал ее советам.

Когда в жизни Алексея Ивановича появилась взбалмошная рыжеволосая бестия Инга Берг, он поначалу даже опасался, что Таисия может невзлюбить Ингу, что в незначительных мелочах станет выказывать ей пренебрежение или же что Инга будет позволять себе лишнее в отношении домработницы, но, по счастью, обошлось. Его опасения были напрасны. Домработница относилась к редкому числу здравомыслящих и снисходительных женщин, берущих за правило не влезать в личную жизнь своих хозяев, не замечать семейных неурядиц и изъясняться немногословно. С безоглядной благодарностью она охраняла жизненный уклад Алексея Ивановича и была ему всецело предана, как бывают преданны лишь люди, лишенные в жизни чего-то очень важного.

Двадцать лет тому назад Таисия Николаевна по-матерински добродушно опекала Алексея Ивановича и его первую супругу, потом так же тепло отнеслась и ко второй жене Сотникова. Нет нужды говорить, что юную Ингу Берг она приняла без обычных женских приглядываний, притирок и тягостных игр в молчанку. Сотников был благодарен ей за почтение к чужим чувствам. Надо признать, что Таисия Николаевна не страдала сентиментальностью,

сериалов не смотрела, душещипательных книжек не читала, но сумела приручить непокорную Ингу, могла умирять ее вспыльчивость и, сохраняя дистанцию, незаметно направлять молодую жену Алексея Ивановича. С завидным терпением она заботилась об Инге, а той, судя по всему, пришлось по вкусу эта забота, и она охотно ее принимала. Всегда готовая мило улыбнуться, Инга умела нравиться. Нравилась она Таисии или нет – неизвестно, но домработница была с ней учтива, не доходя, впрочем, до откровенностей. Бесспорно, старая Таисия видела, насколько самозабвенно Сотников влюблен в прелестную рыжеволосую Ингу, и не могла не заметить, что рыжеволосая прелесть более чем равнодушна к своему перезревшему супругу. Она не понимала и не хотела понимать этой запоздалой любви Алексея Ивановича, но отчасти сочувствовала ему. Таисия никогда не говорила ничего дурного, и в ее взгляде не было и намека на порицание, пусть даже подобные браки и внушали ей опасения и неприязнь. И, боже упаси, она никого не осуждала – ни Алексея Ивановича за его безрассудство, ни Ингу за ее холодную расчетливость.

Итак, Алексей Иванович сидел за кухонным столом, глядя как его домработница заканчивает последние приготовления к обеду. Сам же он, как и приличествует примерному супругу, дождался Ингу. На его тарелке уже появилась изумительная утка, фаршированная овощами, в бокале заиграло прохладное белое вино, и Сотников блаженно прикрыл глаза в знак признательности.

За спиной послышались легкие шаги жены. Алексей Иванович затаил дыхание, и тут же прелестная рыжеволосая головка наклонилась из-за плеча к его гладковыбритой щеке, едва коснувшись ее губами. Гибкие женские руки, пахнущие жасмином, на мгновение обвили его шею, обдали нежным запахом пудры и быстро исчезли.

– Не жди меня, Алексей Иванович, я сегодня не голодна, – шепнула Инга и тут же отстранилась. Она обращалась к мужу по имени и отчеству вовсе не из-за разницы в возрасте (эта разница ее нисколько не смущала), просто ей нравилась эта старомодная, ушедшая изысканность. В таком обращении Инга видела особую элегантность. Сотникову же поначалу это немного претило, но со временем он привык и почти смирился.

Далее Инга бросила на домработницу слепой взгляд и, не желая стеснять себя этикетом, проворно проскользнула по кухне и, как породистая борзая, исчезла в дверном проеме.

Убежала, ну и пусть. Сотников нисколько не удивился ее уходу. Спокойным взглядом он проводил жену и с аппетитом принялся за утку, обсыпанную свежей зеленью и чесноком. Алексея Ивановича вполне устраивала его мирная обустроенная повседневность, и он не желал ничего в ней менять. Чувствовал он себя превосходно, поскольку знал, что недурен собой, что крепок и решителен, умен и верен супружескому долгу. Он обеспечил своей жене приятную беззаботную жизнь, и не просто обеспечил, а счел это в некотором роде делом чести. Он рулил, направлял, создавал ощущение безопасности, а она, в свою очередь, принимала его опеку. Его жена, с самым невинным видом, просила у него деньги и никогда не сообщала, на что именно она их тратит, а он никогда этим не интересовался. Чего ж еще?

По прихоти Инги в доме был установлен лифт, который никому не был нужен и которым никто и никогда не пользовался. Но Инга утверждала, что лифт – это дань современной моде, подчеркивающая определенный статус, и если в трехэтажном доме нет лифта, то это не дом, а второсортная хибара. Сотникову лишь осталось пожать плечами и одобрить этот каприз. Самому Алексею Ивановичу и в голову бы ни пришло употребить столь адскую сумму денег на так называемую «статусную вещичку». На этот счет он имел точку зрения прямо противоположную, но в угоду жене высказывать ее не решился. Ну, разве он не примерный муж?

Правда, жена его часто впадала в уныние, и это было досадно. А поскольку Алексею Ивановичу не суждено было народиться на свет обыкновенным парнем, незатейливым любителем пива, то его мозг иногда все же задавался трудным вопросом: что именно кроется за частым унынием супруги? Но отвечать на этот каверзный вопрос Сотников не спешил, так как редко

говорил с собой. Короче, он старался поменьше обращать внимания на уныние жены, на ее гневные вспышки, на раздражительность и плохое настроение, ибо не видел никаких серьезных причин, побуждающих Ингу сетовать на жизнь.

Несмотря на третий степенный брак и стремительный галоп внебрачных перипетий, Алексей Иванович, так и не понял, какие мысли роятся в хорошеньких женских головках, что за интриги в них разворачиваются, какие неисполненные желания томят женские души, какие пятна на солнце постоянно мешают им жить в спокойствии и согласии с собой. Более того, Алексей Иванович был убежден во вреде подобных познаний, так как считал, что знает и так все, что необходимо мужчине знать о женщине, а непонятливым и любопытным было бы полезно во взрослом возрасте перечитать «Сказку о рыбаке и рыбке». Там как раз в доходчивой форме разъясняется мужчинам, что удовлетворить все женские желания невозможно – сколько не бегай взад-вперед, женщина всегда найдет повод для недовольства и тоски и поставит их вам в вину. Да и потом тоска и уныние всегда были, есть и будут. Даже древние римляне – народ красивейший и образованнейший, народ, проживавший в самом благословенном месте на земле и любующийся прекраснейшими пейзажами на свете, – даже этот народ порой страдал от тоски и неудовлетворенности, томился от уныния и сдабривал себя разными, имеющимися под рукой антидепрессантами. Что уж тут говорить!

Алексей Иванович понимал, что между мужчиной и женщиной проходит некая невидимая, но вполне осязаемая грань, преступить которую мужскому разуму не под силу. Да и к чему ее переступать?! И еще Алексей Иванович усвоил, что женское настроение портится под стать погоде, что все женщины обладают удивительной способностью небольшое отчаяние превратить в стихийное бедствие, а несущественные желания – в крайнюю необходимость. Такими их сотворил Создатель, и такими их приходится любить.

Все эти мужские теории позволили Алексею Ивановичу здраво рассудить, что в отношениях с женщинами нервы свои полагается содержать в строжайшей аккуратности, и ни в коем случае не кидаться в крайности, не метаться, не пытаться исполнить все женские прихоти. В отношениях с женщинами вести себя надо крайне сдержанно, чтобы потом не пришлось рвать от ужаса волосы и в растерянности грызть ногти.

Оставив мужа наедине с его фаршированной уткой, Инга вбежала в свою спальню. Бесцеремонно-шумно она захлопнула дверь с изящным золотым орнаментом, и довольно резко повернула ключ. Спальня ее больше походила не на комнату, а на небольшую шкатулку, высланную кремовым шелком, прелестную девичью шкатулку, благоухающую жасмином и мятой, женской изысканностью и женскими же капризами. Здесь повсюду стояли статуэтки старинного саксонского фарфора, на стенах висели ценные гравюры, архитектурные капрично в стиле Гварди и Каналетто, мебель карельской березы, на туалетном столике лежали конфеты в серебряной бонбоньерке, с высоких арочных окон элегантно ниспадали тяжелые атласные портьеры, пол устилал бледно-пудровый ковер из шерсти и шелка. Входя сюда, Инга каждый раз невольно улыбалась от удовольствия, как кошка после миски сметаны, но сейчас ее взгляд был исполнен странной, несвойственной ей печали.

Последний лучик дневного света догорал на бежевой портьере в дальнем углу комнаты, и Инга одернула портьеру, потом она упала на диван, обхватила колени руками и предалась, собственно, метавшимся мыслям...

* * *

Спустя всего лишь неделю Инга уже не пряталась в своей комнате, а, прерывисто дыша, бегала по огромному дому в поисках подходящего уединенного места, где она смогла бы зазубрить очередной немислимый скучный текст. Все комнаты и холлы сверкали нежилой чисто-

той и оттого вызывали неприязнь, и даже дневной свет, блистающий на начищенном паркете, выводил ее из равновесия.

Второй сезон съемок начался не особенно удачно. Липкий сироп превосходнейшего сериала «Фиалки в шампанском» стал порядком раздражать Ингу. И все бы ничего, но ей нельзя раздражаться, у нее договор со студией на производство шестидесяти двух серий. Благодаря мощным усилиям рекламы сериал пользуется приличным спросом и имеет довольно высокий рейтинг, а ей уже сейчас осточертели диалоги «крутых» парней в сочетании с «любовной» лирикой примитивнейших текстов, тех самых текстов, к которым она, Инга, имеет непосредственное отношение. Придется исполнять всю эту сентиментальную киноглупость, вызывающую зевоту, притаиться и терпеть в ожидании чего-нибудь более серьезного. Она еще раз взглянула на текст:

– «По моему дому бегают призраки, и они запрещают мне общаться с мужчинами. Так что нам суждено быть только друзьями. – Послушай, бэби, одно твое слово, и я сражусь с самим чертом! Я всю жизнь проведу у твоих ног! Я откажусь от всех своих желаний и буду выполнять только твои! Твои желания станут моими! – Оставьте меня, я не желаю вас слушать, вы больны. – Да, бэби, я буду болеть до тех пор, пока ты не согласишься стать моей. Это единственный выход для нас обоих!»

– Ну что ж за дурацкие реплики! Не слова, а какая-то кислая отрывка, – недовольная сценаристом, ворчала себе под нос раздраженная Инга. Она шумно спустилась по лестнице, влетела в огромную светлую столовую, рухнула на стул с высокой спинкой, швырнула листы с текстом на белый овальный стол и по-мальчишески вытянула ноги.

Столовую мягко заливал солнечный свет, она выглядела изысканно, как и все в доме. Это было чудесное, радующее глаз пространство, с бело-бежевыми стенами, отделанными широкими дубовыми панелями, арочными окнами, выходящими на идеально ровную лужайку перед домом. Именно из этих окон открывался поистине волшебный вид на равномерно разбитые осенние клумбы с сиреневыми и белыми гиацинтами, на широкий полукруг высоких коричневых сосен и на шумящее серо-синее пенное море.

– Бред сивой кобылы! Пустобрехи, борзописцы! Неужели им не надоело это эпигонство? Лично мне – до смерти!

В кресле у противоположной стены, рядом со старинным резным буфетом, похожим на музейный экспонат, сидел молодой человек со скрипкой и смычком в правой руке и смотрел Инге прямо в лицо. Казалось, он не расслышал ее последних слов или деликатно сделал вид, что не расслышал. Инга неловко вскочила со стула, поправляя растянутый домашний свитер. Возмущение и обида испарились, сменившись легким замешательством. Ей стало неловко, и она попыталась засмеяться как можно непринужденнее, но вышло не слишком правдоподобно:

– Простите за грубость, я думала... – она начала было оправдываться, показывая рукой в сторону двери, но вовремя спохватилась, – а вы, собственно, кто такой?

Молодой человек поднялся со стула и, глядя на нее сквозь черные ресницы, скромно сказал:

– Видите ли, я здесь с гастролями, и мой отец... мой отец пригласил меня погостить у него... то есть у вас... то есть остановиться не в отеле, а в вашем доме... Он привез меня полчаса назад, открыл мне дверь и велел располагаться, а сам ненадолго уехал по срочному делу... Видимо, он вас не предупредил, я не знал какую комнату могу занять, и... и я счел возможным здесь порепетировать... но, если... это неудобно...

– Так вы Ипполит? – растерялась Инга. Он кивнул, и тут же прервал свои бессвязные извинения, но затеребил колки на скрипке.

Инга машинально улыбнулась и внимательно на него посмотрела. Хоть он был еще совсем молод, в его юношеском облике просматривалось что-то очень мужественное, никак не вяжущееся с тонкими белыми пальцами, держащими скрипку с такой бережливостью, какую

только можно себе вообразить. Его черные волосы волнами ниспадали на очень бледное удлиненное лицо и бледную шею. Вскинутые брови придавали продолговатому юношескому лицу с острыми скулами удивленное выражение. Карие, немного раскосые глаза рассеянно блуждали по столовой. Это были престранные, но обворожительные глаза. Это были глаза молодого человека с отстраненными грустными зрачками старца, познавшими жизнь и потому уставшими. Это выглядело и досадно, и восхитительно. Он стоял прижимая к груди скрипку, и Инге показалось, что сквозь него просвечивает солнце. Она разглядывала его не стесняясь, как разглядывают картину. Никогда прежде Инга не видела столь простой, столь изящной, чарующей грациозности. Что-то всколыхнулось в ее душе, какая-то легкая сладостная жуть, какая-то боль и зависть, выходящие за пределы ее повседневных ощущений. В глубине сознания внезапно мелькнула неясная мысль, она блеснула, как маленькая рыбка в мутной воде, и тут же уплыла на дно. Инга пыталась выудить мысль, но тщетно. Вероятнее всего, эта исчезнувшая мысль была еще слишком мала, вероятно, ей необходимо подрасти, набрать вес, чтобы ее можно было уловить в потоке сознания Инги Берг.

Оказывается, сын ее мужа такой необыкновенный красавец. «Вот дерьмо! А ведь это же мой пасынок!» – со странным смущением подумала Инга, словно это было для нее открытием. Такая, на первый взгляд, банальность вызвала священный ужас, как будто разглядывать этого молодого человека и говорить с ним – настоящее святотатство. Однако с появлением Ипполита огромная белая столовая вдруг расширилась, стала еще светлей и ярче, и чем больше становилось пространство, тем острее Инга чувствовала внутреннюю панику, тем сильнее билось ее сердце и стучало в висках. Ингу охватило необъяснимое внутреннее волнение, но она стояла не шевелясь, будто бы ничего не произошло, и старалась держаться равнодушно. По счастью, через несколько мгновений внезапное волнение прошло, только сердце все еще учащенно билось и стучало в висках. «Интересно, есть ли у него женщина?» – пронеслось в голове за одну секунду. Далее подало голос беспредельно-мучительное женское любопытство, которому захотелось узнать все о прошлом молодого человека – где жил, с кем встречался, о чем размышлял, и, наконец, чем дышит его сегодняшний день.

– Пойдемте на гостевой этаж, – как можно спокойнее сказала Инга, – я покажу вам вашу комнату.

* * *

Ипполит Сотников рос довольно замкнутым ребенком. Скрипка увлекла его в раннем детстве, еще до развода родителей. Когда же родители расстались, мать повела себя странным образом: она, то ли не пожелав обременять себя самостоятельным воспитанием ребенка, то ли в укор бывшему мужу, то ли руководствуясь еще какими-то соображениями, определила мальчика в музыкальный колледж в Лейпциге. Там-то его скрипка как раз и пригодилась, там-то он с ней в обнимку и провел остатки своего детства и всю юность.

Музыкальный колледж был дорогой и престижный, и жилось в нем вроде бы неплохо, однако маленький Ипполит чувствовал себя довольно одиноко. Он долго приглядывался к людям, к порядкам, к предметам, узнавал, что такое подневольные отношения, а когда узнал, то начал потихоньку отгораживаться, отдаляться, замыкаться в себе и в своей скрипке. Ее он считал существом абсолютным, сверхъестественным и даже некоторым образом божественным, а потому и достойным полного доверия. Сама учеба давалась мальчику легко, однако жизнь в колледже легкой не казалась. Отец по несколько раз в год навещал его, но на время каникул из колледжа не забирал, зато деньги на содержание выдавал быстро, регулярно и без ограничений. Мать приезжала часто, но всегда с равнодушным лицом, с сыном была любезна, но слишком сдержанна, останавливалась в дорогом отеле и все время куда-то спешила. Вся ее любовь и забота сводилась к стандартным родительским вопросам, которые она то и дело

задавала: «Как он поел? Как отметки? Не болен ли он? Не пора ли ему делать уроки? Не провалит ли он очередные и очень важные экзамены?» Отметки... Экзамены... Как будто это имело значение, как будто это было главным для нее в жизни сына. Случилось так, что матери было безразлично, что у мальчика в душе, а что на сердце, словно ребенок появляется на свет бездушным, бессердечным, бесчувственным и обретает душу, сердце, чувства лишь тогда, когда становится взрослым. Так к чему задавать ненужные вопросы? Не стоит тратить время и интересоваться подобными пустяками.

В местных магазинах мать делала бесчисленные покупки, а потом хлопала сына по плечу и со счастливой улыбкой уезжала домой. В сущности, она держала Ипполита на почтительном расстоянии, пресекая в нем малейшее проявление нежности или детской непосредственной доверчивости, подавляя в нем малейшие признаки чувствительности. Поначалу он не сильно огорчился, поскольку не имел понятия, что жизнь может быть иной, но потом, видя, как другие отцы и матери обращаются со своими чадами, грустил. Вид чужой любви больно вонзался ему в сердце.

С годами Ипполит начинал понимать, что мать не принимает его сыновней любви. Из всех сил он старался не думать о матери, но тем не менее всем своим наивным существом тянулся к ней. Каждый день он скучал по ее лицу и по голосу, по домашнему быту и запахам, по уютным домашним мелочам, которых обыкновенно не замечаешь в повседневной жизни, но стоит их лишиться, как они приобретают особую прелесть, то и дело всплывая в памяти. Какое-то время он сердился и на мать, и на отца, мысленно укорял их за то, что он выдворен из семейного гнезда, что лишен родительской ласки и любви. А после понял, что безусловная материнская любовь, дарованная каждому человеку от рождения до самой смерти, – это всего лишь вымысел благочестивых дамских романов, что в жизни все совсем не так. Сердце мальчика часто щемило от тоски. Позже он уже не ждал материнских визитов, но, когда она все же приезжала, у него не возникало желаний прогнать ее или крепко обнять – ему вдруг стало все равно. Мать свою он простил, одиночество принял, про отца почти забыл и поплыл, поплыл, как младенец в колыбели по течению Нила.

Рос Ипполит грустным мечтателем, пытавшимся полюбить свое одиночество, пытавшимся полюбить свою тюрьму. После развода родителей робкое лицо мальчика, действительно, редко озарялось счастливой улыбкой. Это был скромный и застенчивый мальчик, физически не слишком развитый, с узкой и тонкой костью под ослепительно белой кожей. Как и многие дети в таком возрасте, он нимало не заботился о своей внешности, словно не замечал ее, оттого-то его тонкие щиколотки и запястья всегда сиротливо болтались в непомерно широких и коротких рукавах и штанинах. Вечерами он любил бродить в одиночестве по брусчатке Лейпцига мимо чужих домов, местами огороженных шпалерами и окаймленных живыми изгородями, мимо домов с потрескивающими и искрящимися каминами, у которых собираются и родители, и дети. О собственном доме он как будто уже не скучал. Почти не скучал. Ему нравилось бродить, вдыхать аромат пряного дягиля и разглядывать, как кружат птицы в лучах заходящего солнца, как сохнут на солнце травинки и вьется вечерняя мошкара у водосточных желобов. Мечты его по большей части были сотканы из воздуха и дождя, солнца и облаков, печали туманов и тишины ночи, из сорванных ветром листьев и волшебства рождения утра. Теперь его восприимчивое ухо стало улавливать то, что не способен уловить простой человеческий слух, казалось, он слышит, как перешептываются бабочки на цветах или шелестит трава.

Юный изгнанник рано начал фантазировать о таинственном мире любви, о трогательной любви к бледным непорочным девам или о пылкой страсти к развязным куртизанкам, но при этом оставался одиноким. Ипполит Сотников, впрочем, как и все мужчины, любил не какую-то реальную женщину, существующую в действительности, а некий образ, то и дело возникающий в его мозгу. Удобный выдуманный образ, и, что крайне важно, образ, находящийся всегда в его распоряжении. Изголодавшийся по человеческому теплу, горя желанием приласкаться,

с неиспытанным доселе наслаждением он забирался в непроходимые дебри упоительных мечтаний, терпя крушение или покоря Олимп.

Коротко говоря, девушек он, бесспорно, обожал, но обожал их издали, он ими грезил, но не позволял себе даже легких, ни к чему не обязывающих приключений, которые обычно заменяют молодым людям настоящую любовь. На настоящих же женщин Ипполит смотрел с боязливым сомнением, с опаской и недоверием. Если же сами женщины с ним заговаривали, то он конфузился, приходил в замешательство, и его бледное лицо тут же предательски заливала краска. Очень долго молодой человек не мог преодолеть робость, он прятал ее в вынужденном благонаравии и смирении, а потому много времени проводил один. К этому следует добавить, что Ипполит, как и все одинокие дети, был умственно развит куда сильнее своих сверстников.

Откровенностей своих мальчик никому не навязывал, а всю наивную нерастраченную сентиментальность, всю мучительную потребность высказаться, обостренное чувство любви, беспокойно бьющееся сердце, все свои романтические переживания доверял одной верной подруге – скрипке. Когда с простодушным пылом пробуждающегося сознания он брал ее в свои горячие детские руки, от робости не оставалось и следа. Лишь она давала ему возможность сполна выразить свои чувства, лишь она с готовностью откликалась на его юношеские откровения. Вместе с ней он переживал неутоленный голод детской и юношеской любви, и если бы не она, то у него, чего доброго, росло бы ощущение собственной ничтожности, неполноценности, ненужности. Но, к счастью, она всегда была под рукой, и ее близость оказалась для него бесценной.

В скрипке он и нашел забвение, в ней он нашел форму для выражения своих чувств и фантазий. Как прекрасны были их диалоги! Смычок делался продолжением его уверенной руки, выводившей звучавшие фразы, меняющиеся с каждым мгновением. С одной стороны, мальчик благоговейно слушал вопросы своей подруги, его приводили в восторг ее откровенные ответы, ее жалобный плач проникал к нему в душу, и он чувствовал полноту бытия и необъятный простор, неожиданно открывшийся ему. Но с другой – он отдавал себе отчет в том, что отгораживается от мира людей, понимал, что им суждено всегда быть только вдвоем – ему и ей. Он уже не стремился к людям, общество людей блекло и тускнело в его глазах и не казалось ему ни заманчивым, ни полезным. Сверстников своих он раздражал замкнутостью, ибо неведомая сила заставляла его искать уединения лишь со скрипкой, лишь она облегчала его одиночество, лишь с ней он был неразлучен.

Зоркие педагоги рано стали замечать в мальчике бесспорный талант. Слушая его музыку, текущую из-под смычка без малейшей заминки, они порой недоумевали, откуда в столь неоперившемся создании такая глубина чувств, такое многообразие сложных оттенков, приходящих к музыканту лишь с возрастом, опытом и виртуозным мастерством. В старших классах Ипполит Сотников проявлял особое усердие к музыке, и уже к пятнадцати годам он стал победителем международного конкурса академических скрипачей в Ганновере. Затем был международный конкурс Антонио Страдивари, конкурс имени королевы Елизаветы, премия Паганини и прочая, и прочая.

Шумные победы на конкурсах сменяли долгие сомнения, по несколько недель он маялся от тоски, а уверенность в своем таланте породила странную ответственность и молчаливость. Разговаривал Ипполит вообще мало, считал, что речь человеческая слишком бедна, несовершенна, что она не способна передать те чувства, которые человек испытывает. Совсем другое – музыка, которой только и дан редкий дар выражать любые эмоции, самые неожиданные видения и фантазии, которая может воспроизвести глубочайшее волнение и описать падение в преисподнюю, весеннюю безмолвную ночь и свежесть моря, утреннюю росу и запах влажной листвы после дождя. И только благодаря музыке человек способен обрести духовную силу и независимость. И постепенно Ипполит обрел их. И что же дальше?

В те времена он учился и не думал о том, что будет делать дальше – когда окончит колледж; он не загадывал наперед, как сложится его музыкальная или бытовая жизнь. Сделает ли слава его своим избранником, или вся жизнь будет крутиться на скромной безымянной мельнице? Сможет ли он снискать уважение публики или станет жалким добровольным отшельником? Будут ли женщины к нему благосклонны? Будет ли он победителем или сломает себе шею? Рожден ли он для великих творений, или его удел – прозябать в безвестности и нищете? В те далекие времена он редко задавался подобными вопросами.

Ни отец, ни мать по-прежнему им не интересовались, их даже не радовало то обстоятельство, что робкий, чахлый, неуверенный в себе отпрыск чрезмерно одарен. Они не проявляли интереса к успехам сына, а возможно, считали эти успехи яркой, но временной вспышкой, не стоящей внимания.

Так Ипполит и вырос, стал юношей. Теперь он уже не пренебрегал своей телесностью, как это было прежде, теперь его щиколотки были скрыты, костюмы сидели безупречно, однако он по-прежнему был равнодушен к внешнему лоску. Да и выглядел юноша довольно странно, он так сильно напоминал православного мученика, что вполне бы мог позировать современным иконописцам. С людьми Ипполит сходилась все так же трудно, правда, общался со всеми ровно. В душе он чувствовал вокруг глухое недоброжелательство, густо приправленное завистью, но старался не придавать этому значения. Женщин, даже самых наивных и хорошеньких, сторонился, заговорить с ними не решался, видимо потому, что считал их всех предательски жестокими и похожими на мать. Иными словами, молодой человек не хотел играть в игры взрослых людей, игры жесткие и жестокие, игры, где все построено на лжи, на боли и обмане, где женщины приманивают мужчин, а мужчины притягивают женщин, но едва завидят протянутые руки, бессердечно отталкивают друг друга.

* * *

Перед началом концерта публика празднично прогуливалась по фойе и двум галереям, протянувшимся справа и слева от входа в зал. Поднимаясь по мраморным ступеням, устланным красной ковровой дорожкой, Инга Берг опиралась на руку мужа и испытывала странное неприятное чувство. Ей казалось, что ее ведут на Голгофу, что ее втягивают в какое-то действие против ее же воли. Пытаясь подавить дурное предчувствие, Инга старалась отвлечься, а потому внимательно – со смесью отвращения и начинающимся приступом то ли ревности, то ли злости – обводила глазами публику. Почти все мужчины были в темно-синих плотно облегающих костюмах. С завидной гордостью они несли не только бремя собственной несокрушимой солидности, но и объемные животики, седеющие головы и лоснящиеся лысины. Дамы в вечерних убранствах и нескромных бриллиантах обменивались многозначительными улыбками с мужчинами в синих костюмах. Одинокие молодые девушки, свежие, как яблони весной, были разукрашены локонами, накладными ресницами, гелевыми скулами и прочими атрибутами современной красоты. Девушки вели между собой негромкие беседы, напоминающие щебет птиц, и тоже не забывали посматривать по сторонам – не без кокетливой надежды.

«Все эти напомаженные самки хотят его заполучить, – с безотчетной злобной ревностью щетинилась Инга, словно Ипполит уже принадлежал ей, словно он был ее собственностью. – Этот мужчина просто создан для женщин, хотя сам еще этого не знает, – рассуждала Инга. – Сейчас он слишком молод и не производит впечатление человека, испытавшего все наслаждения и все муки любви, но со временем он будет полновластно распоряжаться роем обожательниц, со временем он будет ими повелевать! Вот кретинка, – тут же ругала она себя, – может быть, все эти женщины пришли сюда исключительно ради счастья послушать музыку».

Щедры сияли люстры, отбрасывая мягкий свет на красный бархат кресел, сотни глаз горели все ярче в предвкушении удовольствия. Неподвижная и вызывающе красивая Инга,

в роскошном платье из темно-зеленой тафты, с наискосок приколотой сапфировой брошью, сидела в партере рядом со своим мужем Алексеем Ивановичем и едва сдерживала дрожь в руках. Сотников же, откинувшийся на спинку сиденья, пребывал в отличном настроении.

Итак, в программе были заявлены: «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского, Сибелиус, Моцарт и в конце – Паганини. Исполнитель – победитель международных конкурсов Ипполит Сотников.

Наконец люстры приглушили свое яркое сияние, раздались аплодисменты, и на сцену, залитую софитами, вышел Ипполит. Хорошо скроенный черный смокинг подчеркивал его молодость и статную осанку, его тонкую, словно затянутую в корсет талию, стройность тела и белизну кожи, вызывающую зависть даже у женщин. «Боже праведный, – подумала Инга, – как же он красив!» Он показался ей сказочным созданием. Это был самый красивый и самый соблазнительный мужчина из всех, кого она встречала в жизни. Нисколько не смущаясь, Ипполит привычно посмотрел на публику престарелыми глазами молодого человека, почтительно поклонился и одарил всех искренним сияющим взглядом. Инга растерянно опустила ресницы. Свет погас. Дирижер поднял свою палочку, и... Зазвучал Моцарт. Черноволосый музыкант начал легко и нежно, с серьезностью и некоторой грустью, немного патетично, словно и сам о чем-то грустил. Музыка разливалась по залу, как морской прибой лунной ночью.

Глядя на этого необыкновенного, неземного мальчика, слишком земная Инга Берг вдруг оторвалась от земли. Рассеянные ее мысли унесло потоком внезапно ворвавшегося света, рожденного звуками скрипки. Нахлынула теплая волна, и Инга забыла о муже, о долге, о возрасте, об Илье Горском, о «Фиалках в шампанском», обо всем, что так давно составляло всю ее жизнь. Инга не слишком разбиралась в классической музыке, не понимала ее, но сейчас мелодия будто бы говорила обо всем, что было на душе у Инги, будто была не мелодией, а ее собственным внутренним голосом. Музыка то замирала в воздухе, раздвигая стены и потолок вместе с потухшими люстрами, то обрушивалась вниз мощными струями водопада. Инга вбирала в себя каждый звук, и ей слышались рыдания гордой, но обреченной любви. Она испытывала странную легкую радость, как когда-то в детстве.

Инга вспомнила детство, маленькую рыжеволосую девчушку, мечтающую стать артисткой. Уже тогда она считала это вопросом решенным, уже тогда она давала представления во дворе во время прогулок, пела перед детьми и бабушками, сидящими на скамейках, командовала, режиссировала, придумывала разные сценки и жаждала только двух вещей: быть известной и богатой. Вечерами она засыпала детским безмятежным сном, с блаженным покоем в душе, уверенная в том, что обе ее мечты обязательно сбудутся. Потом была школа, институт, яркая череда любовных приключений, не ради чувств, а ради того, чтобы почувствовать себя самостоятельной, желанной и взрослой... Воспоминания наслаивались одно на другое, но заветные мечты оставались незыблемыми. И вот ее мечты исполнились, и что? Она счастлива? Какое там! Сейчас Инга подумала о себе с насмешкой и презрением. Ее вдруг пронзила внезапное просветление. Она поняла, что в погоне за бесконечными автомобилями, ваннами из белого каррарского мрамора, сумками Chanel, фотосессиями и зваными ужинами, которые теперь были легкодоступны, она изголодалась по чему-то более подлинному и более важному. Ей показалось, что пришло время проститься с пустой суетой этого мира и... вернуться к себе. Сейчас Инга целиком погрузилась в собственные переживания.

На протяжении многих лет она ходила на концерты лишь для того, чтобы быть в курсе культурной жизни, чтобы при случае блеснуть эрудицией, а музыку считала только фоном или декорацией к сцене, к диалогу или молчанию. Этим, собственно говоря, ее музыкальная культура и ограничивалась. А сейчас скрипка в руках Ипполита издавала звуки живого существа, находящегося на грани отчаяния, и это переворачивало все внутри, это разрывало сердце Инги. Оказывается, у музыки есть способность к мгновенному проникновению в суть вещей, оказывается, эти священные звуки либо сглаживают шероховатости жизни, либо, наоборот, заост-

ряют их. Благодаря ли Моцарту, но она ощутила величайшую жажду обновления, перерождения, жажду познания себя и жажду... любви – словом, всего того, на что ей всегда не хватало времени и духа.

С жадностью изголодавшегося хищника она смотрела на Ипполита, видела только Ипполита, видела, как он повелевает целой стаей духовых и струнных, видела, как эта стая повинуется одному его вздоху, одному его взгляду, и ей это было приятно. Инга смотрела на прекрасное лицо, склоненное к плечу, на котором неистовствовала скрипка. Они сиротливо жались друг к другу, сплетались, буквально сливались друг с другом в единую пленительную форму. Ноздри Ипполита беспокойно вздрагивали, а глаза лишь изредка шурились и мельком посматривали в партитуру. Его юные тонкие руки были наполнены какой-то неправдоподобно зрелой нежностью. В тот вечер он был богом, дарующим людям свет добра, и люди взирали на него с поклонением и благодарностью.

Откровенно говоря, Инга не отдавала себе отчета, почему ей доставляет такое удовольствие смотреть на него, но чем больше она всматривалась в его шелковистые черные пряди, в изгиб шеи, в длинные тонкие пальцы, тем отчетливее понимала, что между ними пропасть. Впрочем, нет, не пропасть; пропасть – это слишком мало, – между ними простираются целые миры, потому что он существо с неведомой планеты, из безвременного пространства, а она слишком земная и материальная, она...

Словно вспомнив, что она здесь не одна, Инга воровато посмотрела по сторонам. В полумраке зала сидели люди, в точности такие же, как и она, точно так же опьяненные восторгом и точно так же ловящие каждый звук. К своему великому удивлению, она почувствовала, как на глаза навернулись слезы, и вдруг обрадовалась собственным слезам...

Зал безудержно восхищался. Публика бесновалась, как одурманенная, ритмично аплодировала, с благодарностью глядя на исполнителя. Ипполит кланялся, его лицо блестело от пота, он посылал целомудренные воздушные поцелуи, улыбался скромной улыбкой, не предназначенной никому в отдельности, улыбался, даря всем и каждому частицу себя. Казалось, он был немного рассеян и абсолютно счастлив, он выглядел так, как это бывает после пылкого любовного свидания. Такого Инга никогда не испытывала. Она угрюмо позавидовала его успеху, таланту, молодости и свободе, и еще она позавидовала женщине, которую он полюбил... Глаза ее злобно блеснули. Она сидела, то и дело перехватывая восторженные женские взгляды, подтверждающие, что Ипполит восхитителен. Да, он был не такой, как все, от него исходило сияние, глаза его лучились, и тем не менее он был как будто далеко от них – это-то и вызывало обожание. Инге, как капризному ребенку, захотелось, чтобы все эти люди немедленно исчезли, чтобы они с Ипполитом остались вдвоем, чтобы он играл только для нее, а потом, потом... быть может... В каком-то странном забытии она аплодировала чуть дольше остальных.

В антракте они с Алексеем Ивановичем прошли за кулисы, которые были уже заполнены толпой. Костюмер суетился вокруг Ипполита, поправлял на нем смокинг, приводил в порядок его растрепавшиеся очень черные волосы, ниспадавшие на плечи, и одновременно припудривал очень белую кожу лица. Сам же молодой человек поднимал-опускал руки и разминал суставы.

– Мы хотим поблагодарить вас... – неловко начала Инга, – мы восхищены вашей игрой... я не слишком разбираюсь в технике, но... вы... вы – превосходный музыкант.

– Спасибо, я рад, что вы пришли послушать меня, – скромно отозвался юноша, но на его щеках едва заметно расцвела улыбка.

– Это точно, он истый скрипач, и музыку любил еще с пеленок, – взбудораженный аплодисментами Алексей Иванович гордо похлопал сына по плечу, словно сам имел отношение к

его успеху, словно он тоже участвовал в создании волшебных звуков и теперь может по праву разделить торжество.

– Боюсь, что любовь к музыке и умение держать в руках скрипку еще не делают человека музыкантом, – полушутливо, полусерьез ответил Ипполит. Он искоса взглянул на отца, и лицо его незаметно дрогнуло.

– Ну-ну, не скромничай, – удовлетворенно сказал Сотников.

Инга неестественно весело засмеялась каким-то дразнящим, почти дурным смехом и протянула Ипполиту обнаженную до локтя руку. Молодой человек поклонился и взял ее руку в свою тонкую кисть. Инга ощутила его нежное пожатие. Это свободное, как ветер, прикосновение молодости почти ударило током и на мгновение заставило ее окаменеть. Зеленый шелк глаз засиял неожиданно ослепительным светом, хотя ничего сверхъестественного между ними не произошло. Она вроде бы понимала, что не следует вкладывать в это рукопожатие слишком большую надежду, что это не залог и не обещание чувств, что это общий жест вежливости, банальный знак внимания, что так он ведет себя со всеми людьми, что в этом нет никакого тайного смысла. Однако же, против ее желания, в ней поднялся неожиданный прилив нежности, затопивший горячей волной все тело и разум. Она ощутила в себе что-то мучительное и непоправимое, что-то зовущее и пугающее, ей даже показалось, что она переносится в другое измерение, в некий высший мир. Иными словами, к своему удивлению Инга поняла, что загорелась от жажды жизни и влечения к этому мужчине. Это были непривычные, тревожные, но в то же время и сладостные мысли. Как же она жила раньше? Как она могла жить, не подозревая, что на этом свете есть ОН, как же она жила, не ведая о том, что ОН существует?! Внезапно ей приоткрылось то, о чем она давно и тайно мечтала, но в чем боялась себе признаться. От волнения ее лицо стало совсем бледным, дыхание – прерывистым, а взгляд – смиренным. Как она сегодня выглядит? Достаточно ли она элегантна? Понравилась ли ему ее прическа? Не слишком ли она переусердствовала с лаком и пудрой для волос? Боже ты мой, что за глупости в голову лезут? Ну при чем здесь прическа, разве он может заметить ее прическу?

Пока белая как снег Инга столбенела, терялась от чудовищной неловкости и пыталась хоть как-то соблюдать приличия, в гримерку все заходили люди с возбужденными лицами и льстивыми улыбками. Со всех сторон на Ипполита сыпались хвалебные возгласы и длинные восклицания. Сам же он выглядел неестественно спокойно – привычно кланялся, безупречно вежливо отвечал всем словами благодарности, но произносил их равнодушнее, чем следовало бы, и почему-то исподлобья поглядывал то на отца, то на мачеху, словно извинялся перед ними за что-то. Наконец, ко всеобщему облегчению, раздался пронзительный звонок, и гримерку пришлось покинуть. Вся прогуливающаяся публика вновь всколыхнулась и хлынула в зал.

Началось второе отделение. По взмаху волшебной палочки оркестр покорно припал к своим инструментам, а бледные, полные доверия лица вновь притаились в полумраке зала. Ипполит поднял скрипку к плечу, взялся за смычок и – очень трогательно, с полуопущенными веками, стал рассказывать историю чьей-то любви...

Теперь Инга сидела как на иголках, а что-то изнутри подсказывало, что надо немедленно притвориться нездоровой, сослаться на боли в спине, мигрень, колики, на любое недомогание, срочно встать и уйти с концерта. Но она этого не сделала, она ослушалась внутреннего голоса, потому что не в силах была совладать с собой. Ей захотелось остаться до конца, остаться, чтобы помучить себя или проникнуть в неведомую суть вещей, спастись или погибнуть, но познать то счастье, которого она никогда прежде не испытывала.

Конец второго отделения Инга Берг уже не слышала, она сидела с застывшим выражением растерянности на лице и думала о том, как бы незаметно восстановить дыхание и закончить этот трудный вечер, ничем себя не выдав.

Алексей же Иванович сидел преспокойно и выглядел вполне равнодушным, словно и не слышал никакой музыки; однако это было лишь внешнее впечатление, ибо думалось ему совсем иначе. «Я люблю жизнь, – довольно странно, почти восторженно восклицал его внутренний голос, – люблю этот зал с большими белыми колоннами, люблю моего славного отпрыска, а самое главное – я люблю эту рыжеволосую женщину, сидящую рядом!» Ни с того ни с сего сердце Сотникова озарила несказанная нежность, захотелось повернуться к жене, заключить ее в объятия и сказать, как он ее любит. Однако мужчине с его обаянием, финансами и размахом не пристало опускаться до подобных сантиментов, да еще и на людях. Украдкой он все же взглянул на Ингу, но та сидела с застывшими расширенными глазами, полными слез. В приглушенном свете зала она была еще обольстительнее, чем обычно, и взгляд Сотникова тут же померк, растерялся и запутался в золотых, как перезрелые колосья, волосах жены. Легкий укол ревности вонзился в сердце Алексея Ивановича, и это было досадно. Сотников запрещал себе ревновать, поскольку знал, что ревность поедает душу, как ржа яблоневый цвет, что она подтачивает ее самую сердцевинку. Помимо собственной воли Алексею Ивановичу захотелось, чтобы слезы Инги предназначались именно ему, Сотникову, в первый раз захотелось почувствовать себя не только влюбленным, щедрым, немного отстраненным, каким он был всегда, но почувствовать себя еще и любимым.

Голос скрипки возносился все выше и выше, превращался в исступленное буйство, и оркестр послушно следовал за ней, как заколдованный. Тут Алексей Иванович Сотников почему-то вспомнил, что Инга никогда не говорила ему слов любви, а он ее никогда об этом не спрашивал. Ему было достаточно того, что она его жена, что он роскошно одевает ее, дарит ей драгоценности, ему было приятно, что любой подарок она воспринимает с такими горящими глазами, будто все ей в радость, все в новинку. Алексей Иванович был доволен, что они повсюду появляются вместе, вместе живут, вместе едят, занимаются любовью. «Впрочем, – честно признался себе Сотников, – выражение “заниматься любовью” уже давно не может к нему прилагаться... так сказать в полной мере...» В остальном же он безупречен.

Он примерный муж, он окружил женщину жизнью, лишенной постылого быта и презренных забот; его жена жаждала респектабельности, и он ее предоставил. Как же иначе? Заставлять женщину заботиться о себе самой – не лучший способ ухаживания. Сквозь пальцы он смотрел на ее увлечение карьерой, на ее капризы и картинные позы. У молодой красивой женщины должны быть увлечения. Это нормально. Странно выглядят те женщины, у которых подобный интерес отсутствует... Так считал Алексей Иванович. Ну а спрашивать о любви... Алексею Ивановичу казалось, что спрашивать о любви у того, кто сам о ней не говорит, как-то неуместно, нескромно, что ли, а может, даже и бессмысленно. Кроме того, Алексей Иванович считал себя достаточным самцом, способным обойтись без подобного рода уточнений. Во всяком случае, считал до сегодняшнего вечера. Правда, с грустной усмешкой он сейчас припомнил, что с самого начала их знакомства Инга странно смотрела на него своими смеющимися зелеными глазами. Иногда она смотрела на него как на друга, иногда как на врага, но никогда – как на любовника. Почему же? Почему к нему Инга никогда не проявляла сильных чувств? Сегодня он впервые сожалел о неспособности Инги любить его как мужчину. У Сотникова вдруг возникла шальная мысль спросить жену о любви, но, к счастью, он ее немедленно отверг.

Скорей бы уж закончился этот злополучный концерт. Сотников определенно почувствовал себя взбешенным. Несмотря на внешнее спокойствие и душевное равновесие, умело им демонстрируемые, управлять своей венозной системой он так и не научился. Как-то некстати и даже не по-мужски он зачем-то подумал о шумах в своем сердце и о кардиограмме.

Все, с него хватит, нервы уже напряжены до предела, а в его возрасте вредно волноваться. Ему достаточно душевных прозрений, духовных омовений, терзаний по поводу заката жизни и прочей разной дребедени. Скорей бы утро, и на работу, там все просто и понятно, там он

царь и бог. Наконец музыка стихла, и измученный, похожий на призрака Алексей Иванович испытал огромное облегчение.

* * *

Тем же вечером, после концерта, Сотников и Инга Берг сидели в своем доме, вдвоем, в кожаных креслах перед огромным погасшим камином. Алексей Иванович хотел было отодвинуть высокую каминную решетку и разжечь огонь, чтобы весело заплясали языки пламени, чтобы жар опалял щеки, чтобы по дому разошелся уютный запах березовых поленьев. Однако он этого не сделал, да и вряд ли стоит в столь поздний час воскрешать почивший священный пламень. Восторг, вызванный музыкой, постепенно сошел на нет и оставил лишь неясные и тягостные чувства.

– Может, следует купить ему «Страдивари»? – спросил он жену. – Как думаешь?

– Зачем? – машинально спросила Инга.

– Говорят, там звук особенный, деликатнее что ли, возвышеннее. Говорят, что темы буквально струятся из-под смычка.

– Что там у тебя струится из-под смычка? – съязвила Инга. – Вот только не изображай из себя знатока, прошу, тебе не идет. Сейчас понапридумываешь в угоду своему тщеславию сорок бочек арестантов. Будто бы я не знаю, что тебе медведь на ухо наступил. Тебе что «Страдивари», что «Ямаха» – все одно.

– При чем здесь я? – словно оправдываясь, сказал жене Сотников. – В этом году мальчик будет номинирован на «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки, вот я и подумал...

«Грэмми? Еще и Грэмми, – Инга почувствовала, как в ней быстро разлилась желчь, – нет, только не это. После Грэмми к нему вообще будет не подступиться. Женщины уже сейчас обливаются, глядя на него, что же будет после, когда его обласкают лучи славы?.. Ничего особенного, просто налетит стая жадных и слишком красивых молодых женщин, вот и все. Просто он будет открыт всем удовольствиям, всем желаниям, просто он станет идеальной добычей. Как жаль... ведь он совсем не осведомлен об этой жизни...»

– Ты поэтому пригласил его пожить к нам в дом? – вдруг рассердившись на мужа, спросила Инга.

– Не говори глупостей. Это мой сын, и этот дом – его дом, – как можно спокойнее ответил Сотников. – Не забывай, что он здесь родился и рос.

– Да неужели? Что-то раньше я о нем не слишком часто слышала.

– Ты сегодня явно не в духе, – обеспокоенно сказал Сотников.

– Алексей Иванович, почему мать бросила Ипполита? – В ее голосе звучали язвительно-резкие нотки.

Эти слова очень не понравились Сотникову. Он знал, что на вопросы близких людей нельзя отвечать банальной отговоркой, однако ответил:

– Мать его не бросила, а пристроила учиться. Заметь, это не одно и то же. Просто на тот момент это было самое правильное решение.

– Или самое легкое решение? Нам всем хочется считать правильным то, что для нас предпочтительнее, что нам удобнее или выгоднее. Не так ли?

– Да что с тобой такое, в самом деле?

– А почему ты не интересовался им? – Инга перешла на откровенно раздраженный тон, который больно отозвался в сердце Сотникова.

– Прошу тебя, Инга, – Алексей Иванович поднял руку, как для присяги, – прошу тебя, будь сдержанней. Я не «не интересовался» им, а на время отстранился, но я за все платил. И потом, если ты помнишь, последние десять лет я был занят исключительно тобой.

Еще он хотел было добавить, что полюбил ее, а влюбленность, какой бы она ни была, самым парадоксальным образом порождает безразличие к окружающим, но предпочел молчать.

– Платил, – жестко усмехнулась Инга, – ты просто оплачивал счета для успокоения своей совести.

– Что это сегодня с тобой, в тебе проснулось подобие родительской нежности? – в свою очередь саркастично-холодно поинтересовался Алексей Иванович. – Ты решила поупражняться в материнстве или сыграть роль доброй покровительницы? Бесспорно, такие роли внушают уважение к себе. Ты главное не переусердствуй, не перетруди себя.

Инга не нашлась, что ответить на его выпад, однако внутри нее вспыхивал настоящий бунт. Она поднялась с кресла и стояла с оскорбленным видом. Поднялся и Алексей Иванович.

– Ты меня любишь? – неожиданно для самого себя спросил Сотников жену и тут же был готов откусить себе язык за этот вопрос.

– Ты задаешь этот вопрос через девять лет супружества?

– О таком никогда не поздно поинтересоваться, – он почувствовал, что краснеет, и очень надеялся, что толстый слой старческой желтизны не позволит проявиться его сентиментальности.

– Иди спать, – раздраженно бросила Инга. К ее раздражению смутно примешивалось еще и удивление, потому что она никогда прежде не видела своего мужа таким прилипчивым, таким навязчиво-откровенным и таким бестактным.

Сотников почувствовал легкую дрожь. Вероятно, подскочило давление. Впервые в жизни он спросил жену о чувствах. Зачем он ее об этом спросил? К чему? Он устал, он старел, ему скоро стукнет семьдесят. Так чего же он хочет от этой молодой красивой женщины? Всю жизнь он был сдержан, циничен и трезв, что же произошло сегодня? Что за неуместные сантименты? Сам-то он, когда ему было под сорок, не заглядывался на семидесятилетних изголодавшихся кокеток, а предпочитал женщин помоложе. Так чего же он хочет от Инги? Сейчас ему показалось, что девять лет назад они всего-навсего заключили сделку между его деньгами и ее телом. Сделку? Да! Сделку! Ну и что? Самые простые выводы всегда самые верные. На что, собственно говоря, рассчитывают старцы, озабоченные поисками молодой плоти и влекущие под венец юных Сюзанн? Чтобы остаток дней любоваться их муками? Старцы, покупающие юную плоть Сюзанн...

От этой мысли Алексей Иванович почти оглох, словно она настоящим молотом обрушилась на его слабые барабанные перепонки. Он откровенно стар, и, как это ни прискорбно, его время ушло. А в сожалениях по ушедшему времени неприятно сознаваться даже самому себе. Где-то в глубине души Алексей Иванович давно это знал, но ничуть не страдал по этому поводу. Почему же, черт побери, прежде он никогда не думал о том, что жена его не любит? Разве не естественно предположить, что его молодая жена, полная жизни и обаяния, может интересоваться кем-то кроме него? Он считал, что она не должна ему изменять, но с какой стати он так решил? Теперь же он был крайне раздосадован и удивлен. Более того, он был удивлен своему удивлению. У него появился соперник? Или он всегда был? Разве он, Алексей Сотников, хочет знать правду? Какую правду? Добиваться правды не всегда с руки, особенно если знаешь, что она доставит страдания. Да и разве можно добиваться правды от женщины, особенно если эта женщина актриса? Да и что такое «правда» в отношениях между мужчиной и женщиной? Поди разбери!

То ли опыт, то ли черта характера, то ли безошибочный мужской инстинкт, так называемый голос пола, развили в Сотникове удивительную способность быть крайне немногослов-

ным с женщинами. Молчание облегчает жизнь и избавляет от многих нелепых ожесточенных сцен, занимающих не последнее место в отношениях между супругами. Алексей Иванович прекрасно понимал, что как только мужчина начинает выяснять отношения с женщиной, подвергать сомнению ее женскую искренность, как только он начинает вести себя в подобном унижительном ключе, каждая уважающая себя женщина тут же разворачивается и уходит. Женщины так устроены, впрочем, мужчины устроены так же.

– Я загляну к тебе позже, – Инга попыталась сгладить свое откровенно плохое настроение, но поняла, что ее снисходительно-резкий тон в данном случае был не слишком-то уместен.

– Я буду ждать, – в голосе Сотникова прозвучала какая-то безнадежность. Алексей Иванович посмотрел на жену покорным горестным взглядом. Ему очень захотелось привлечь ее к себе привычным собственническим жестом, но что-то его остановило. Видимо, то нетерпение в ее глазах, с каким она спешила от него избавиться.

* * *

На самом же деле Инга крайне редко «заглядывала» в спальню к Алексею Ивановичу, особенно после того, как в его ежедневный обиход уверенно вошло слово «гипертония». Эта самая гипертония хоть и не была критической, но все же доставляла массу беспокойств и медицинских запретов, к числу которых относилась и физическая любовь. Поначалу Алексей Иванович категорически проигнорировал запрет, эту размеренную запланированную скуку, но после пары-тройки гипертонических кризов с их устрашающим набатом и паникой понял, что запрет на любовь не такой уж беспочвенный. К тому же Инга долго и настойчиво толковала Сотникову о пользе воздержания, особенно для таких «пылких» мужчин, как ее муж. Алексей Иванович, безусловно, был приятно польщен, он соглашался, что отныне его кровь должна течь спокойнее и скучнее по артериям. Соглашаться-то он соглашался, но все же иногда просил супругу «заглянуть» к нему. Она тут же «заглядывала», но была равнодушна и холодна, как скандинавская форель в озере. Сотников понимал, что Инге гораздо удобнее спать одной в ее обжитой спальне-шкатулке, понимал, что ей уютнее и крепче спится, когда он не ворочается рядом с боку на бок и не хрустит суставами во время одолевающей его бессонницы. Разумеется, он вполне бы мог прийти в ее комнату и просить позволения спать с ней в одной постели, особенно если принять во внимание стаж их совместного супружества. Но Алексей Иванович знал, что ей это будет неприятно, ему – унижительно, и потому оставался покорно ждать в своей спальне. Он ждал, а когда понимал всю тщету своих надежд, утешал себя мыслью, что в отказе любимой женщины тоже есть известное удовольствие...

Сегодня Инга в очередной раз обманула супруга. Она решила избавиться от обязанностей жены, поскольку даже симулировать эротические желания у нее не хватило бы сил. Сегодня ее нисколько не интересовали ни физические прелести Алексея Ивановича, ни даже прелесть его аппетитно раздутого кошелька. Как бы то ни было, она, не обеспокоенная переживаниями о супружеском долге, заперлась в своей шелковой спальне, не забыв при этом весьма предусмотрительно дважды повернуть ключ.

Итак, Инга оказалась совсем одна, среди милых приевшихся безделушек, источавших печаль, среди прелестных статуэток и подсвечников в стиле ампир, показавшихся ей нелепым скопищем ненужного безобразного старья. Прежде ее комната была к ней благосклонна, прежде она разделяла с ней радость удивления, избавляла ее от горестных волнений и тревожных предчувствий. А сегодня Инга растерянным взглядом обвела свою уютную скорлупу, не понимая, зачем она здесь.

Ей очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но поговорить было решительно не с кем – подругами она не обзавелась, да и не находила удовольствия в откровенностях. Бесчисленное количество раз и в жизни, и в работе она говорила и делала глупости, она лгала, лицемерила,

лицедействовала – словом, разыгрывала и величайший покой, и нервные рыдания, и лирические порывы, и так заигралась, что сама перестала не только понимать правду, но и помнить о ее существовании. И правда из ее уст воспринималась окружающими так же, как и ложь, поэтому откровенничать было бессмысленно. Такова участь всех красивых женщин, а актрис в особенности.

Усевшись у туалетного столика, Инга долго, с удивлением и ужасом разглядывала в зеркале свое озабоченное подурневшее лицо, то самое лицо, которым она прежде любовалась с нескрываемым восторгом. Сотни тысяч раз она разглядывала себя в зеркальных глубинах, находя прелестными правильные черты лица и слишком прямой нос, удлиненный, как у готической статуи. Виртуозно владея искусством притворства, она умело скрывала от посторонних глаз свои подлинные слабости – банальную суетность, ревность, злость и еще черт знает что, не давая им проступить на поверхность. Инга хотела казаться такой, какой ей хотелось бы быть, а именно сдержанной и благородной, почти совершенной. Пусть не всерьез, пусть только с виду, но ей хотелось производить именно такое впечатление. Ведь именно ее идеальное лицо до сих пор вызывает у многих ощущение совершенства. Она знала, что красива и молода. Она знала, что рядом с мужем все еще выглядит маленькой восторженной девчонкой, а рядом с молодым черноволосым, белокожим мужчиной она будет казаться непоправимо старой, пошлой роковой распутницей...

Инга улеглась на свою огромную шелковую постель, с головой укуталась в простыни и, вспомнив большую сцену филармонии, пронизанную десятками прожекторов, долго и безнадежно плакала. Она плакала совсем как в детстве, слизывая с распухшей верхней губы крупные слезинки. Она плакала над своим живым человеческим сердцем, которое так растерянно трепыхалось в груди, плакала над годами своего одиночества, проведенными в обитой атласом спальне-шкатулке, где, несмотря на всю ее прелесть, не чувствовала себя дома, она плакала над такими же безрадостными годами, которые ей предстоит прожить здесь, рехнувшись от одиночества. Этот чудесный особняк служил ей укрытием, прибежищем, но не домом, не священным очагом, что полагается хранить женщине. Эти роскошные хоромы, несмотря на весь романтический антураж, предназначались для уединения, для сна и отдыха, но, как оказалось, вовсе не для счастья. Инга плакала над прекрасной рыжеволосой женщиной, которой вдруг стало больно жить, женщиной, познавшей настоящее несчастье полюбить.

Девять лет назад она почти осознанно отказалась от любви и свободы, предпочтя им умеренное сытое благополучие, полный довольства респектабельный мирок. Девять лет назад ее потаенные помыслы нашептывали ей, что отношения мужчин и женщин построены больше на личной выгоде, а вовсе не на любви и симпатии. Девять лет назад ей казалось, что если у тебя есть деньги, то тебе незачем ненавидеть мир, людей, сетовать на их несправедливость, лебезить и заискивать, сдерживать себя или укорять других. Если у тебя есть деньги, то у тебя постепенно вырабатывается новый независимый взгляд на жизнь, взгляд, одобренный терпимостью, а то и толерантностью (какое противное слово, оно никогда ей не нравилось). Деньги очеловечивают человека, он освобождается от диких инстинктов, порожденных не недостатком цивилизованности или отсутствием воспитания, а банальным отсутствием денег. Все это так, но жить со стариком тоже не бог весть что... Или он не старик?

Комната наполнилась вечерними тенями, грустью и тоской по несбывшемуся. Сталось слишком жарко, удушливый воздух сдавливал виски, раскалял простыни, струился от мебели и из складок портьер. Или Инге это только казалось... Так она и томилась до утра, как узник, в четырех стенах своей роскошной камеры, убеждая себя, что взбесившийся внутренний зверь скоро угомонится, что тяжелый груз нерастраченных чувств не так уж и тяжел и что это досадное наваждение скоро пройдет.

* * *

Завтрак был накрыт не на кухне, а в огромной белой столовой. Овальный стол был сервирован севрским фарфором, в центре стояли свежеспеченные золотистые булочки с изюмом под воздушно-белоснежным покрывалом из сахарной пудры и кувшин с мятной водой. Алексей Иванович сидел тут же перед открытым ноутбуком. Сотников был одет в сшитую на заказ накрахмаленную белоснежную сорочку с инициалами на манжетах и не по возрасту ярко-синюю пару. Он задумчиво провожал взглядом дым от своей сигареты и, как обычно, просматривал утренние новости – хотя было совершенно очевидно, что его усталый взгляд равнодушно скользит по строчкам. Ипполит, в оборванных мальчишеских джинсах и голубом хлопковом свитере, оттенявшем его черные волосы, сидел молча напротив отца. На первый взгляд, он был занят приготовлением бутерброда из свежего хлеба, сыра и ветчины, однако по глазам было видно, что он не здесь, не в этой комнате. Облик его казался бы домашним, если бы не черные глаза: в них-то и притаилось горделивое одиночество, отстраненность от внешнего мира, какая обычно бывает у музыканта после концерта. Словом, сам он был здесь, но мысли его витали где-то далеко. Алексей Иванович это сразу отметил. Иногда бессловесное общение, язык взглядов и жестов куда понятнее, чем слова. Он и Ипполит сидели совсем близко, но определенно были разделены невидимой стеной. Два родных и в то же время чужих человека, которые не знают и не понимают друг друга. Сотников украдкой посматривал на сына и не знал, как ему теперь полагается с ним себя вести. Когда-то он развелся с его матерью и невольно отстранился от него самого, словно ребенок – неотъемлемая часть женщины, та самая часть, которая уходит вместе с ней в прошлое. Такой порядок вещей не только не смущал Сотникова, но и представлялся ему наиболее правильным. Правильным. Какое странное слово. Что такое «правильно»? Скорее всего, «правильно» – это то, что кажется правильным в данную минуту, но проходит время, все меняется, все окрашивается в иные тона, и правильность кажется уже другой. А времени прошло немало...

Последние несколько лет Алексей Иванович почему-то стал вспоминать то беременность своей бывшей жены, то ее домашние роды, то сморщенное личико новорожденного мальчика, то его крохотные розовые пальчики. Никогда прежде ничего подобного он за собой не замечал. Сотников вспоминал и чувствовал, как на него стало нападать волнение, как в нем зашевелилась тоска по сыну. Тоска эта потом перетекла в раскаяние, а раскаяние сменили резкие приступы нарастающей душевной боли, и от них Алексея Ивановича воротило с души. Стал Алексей Иванович припоминать, как его тогда уже подрастающий сынок, похожий на несчастный комочек одиночества, бродил здесь, по огромному дому, как это маленькое созданище было измучено родительскими скандалами и родительским же равнодушием. Почему же Алексей Иванович раньше об этом не думал?

Как бы то ни было, но все эти тягостные и трогательные воспоминания стали перемешиваться с чувством вины. Не раз Сотников упрекал себя в холодности к Ипполиту, не раз говорил себе, что он никудышный отец. Конечно, он не сильно убивался по этому поводу, конечно, его самоуважение не слишком пострадало, но появившаяся тяжесть в груди все же мешала жить. Словом, отца потянуло к сыну. Вот так. Отца вдруг стало интересовать, как его сын прожил все эти годы? Был ли счастлив среди друзей? В любви ли утратил невинность? Кому и как изливал свои чувства? Кто давал ему мудрые советы, кто посвящал его в тайны бытия? Такие запоздалые родительские вопросы как-то особенно умиляли Алексея Ивановича, делали его возвышенным и великодушным в собственных глазах, и от таких вопросов мысли его пошли на поправку. Захотелось стать хорошим отцом, а понимал это Сотников по-своему. Он долго взвешивал ход чувств и рассуждений и пришел к выводу, что за всем этим стоит не столько мораль и инстинкт, сколько тяга к внутреннему успокоению. Наконец, Сотников решил, что

должен все исправить, наверстать упущенное, должен вцепиться в сына, как в спасательный канат над пугающей бездной раскаяния, которая того и гляди развернется у него под ногами. Коротко говоря, думал Сотников не столько о чувствах сына, сколько о своих собственных.

Преодолев некоторые муки нерешительности, Алексей Иванович затеял переписку с сыном. С Ингой же он ничего не обсуждал. Здравомысленно рассудив, он подумал, что если Инге станет все известно, то ему не удастся избежать разговоров, а на уйму ненужных неудобных женских вопросов ответа у него не было.

И все-таки, зачем Сотников позвал Ипполита обратно в свою жизнь? Есть ли в этом жесте какой-нибудь смысл? Как сложатся их отношения и произойдет ли наконец сближение?

Алексей Иванович еще раз взглянул на сына. Теперь лицо его мальчика не было открытым, как у девственницы перед исповедью, теперь оно стало замкнутым и жестким, без тени любопытства, и не нужно быть большим провидцем, умеющим читать чужие мысли, чтобы, взглянув в это лицо, не прийти к неутешительному выводу.

Ипполит, внезапно почувствовав на себе пристальный взгляд, оторвался от приготовления бутерброда и в упор посмотрел на отца. Оба испытали неловкость, оба поняли, что видят перед собой совсем не то, на что рассчитывали, совсем не то, о чем мечтали, а всего лишь крохотную внешнюю картинку, в которой живет целая череда ликов, похожих на отражение друг в друге двух зеркал, отражение, пугающее своей непостижимостью и бесконечностью. И не более того. В таких отражениях кроется нечто более глубокое, чем возможно понять, нечто, лежащее в другой плоскости и недоступное обычной природе вещей. Оба промолчали. А что тут скажешь? Об этом не говорят вслух, и не называют вещи своим именами. Так что и нечего гоняться за иллюзией, растрачивать себя на миражи, подчиняться глупым условностям или отдаваться игре родственного воображения. Как есть, так и есть.

Оба слабо улыбнулись. Так уж сложилась жизнь. Первым отвел глаза Ипполит. Алексей Иванович вновь погрузился в новости.

В этот момент в столовую вошла Инга Берг. Она зачем-то надела свое самое скромное черное платье с отложным белым воротничком. Инга тщательно подготовилась, чтобы произвести впечатление праведницы. Удержаться и не актерствовать, не заигрывать с этим молодым человеком было выше ее сил. К завтраку она появилась с безукоризненно убранными назад волосами и таким видом, будто бы до конца не определилась с ролью: то ли целомудренной девы, какой никогда себя не чувствовала, то ли добропорядочной старшей наставницы, какой, бесспорно, никогда не была. На мужа Инга не обратила внимания, поскольку по многолетнему опыту супружества знала, что пробить утреннюю компьютерную стену невозможно.

– Тебе очень идет, – неожиданно оторвавшись от новостей, небрежно, с некоторой колкостью обронил Алексей Иванович. – Правда, с ролью наивной школьницы ты запоздала лет эдак на двадцать.

Его глаза странно блеснули. Или фальшь во внешности жены покорила Алексея Ивановича, или в нем банально проснулась полусознанная ревность, та самая, которую он ни в коем случае не признал бы. К кому Сотников ревновал, он бы и сам не смог определить. Это было смешанное чувство. Ревность к возрасту жены, к возможным соперникам, к завтрашнему дню, в конце концов – даже к этому чудесному черному платью. Как бы то ни было, но в этот момент ревность сделала его помолодевшим и почти красивым. Сотников торжествующе улыбнулся и вновь уткнулся в экран ноутбука.

Инге потребовалась вся ее выдержка, чтобы лишь мило улыбнуться, ибо эти невозможные, неуместные слова в прах развеяли задуманный ею эффект. А она терпеть не могла, когда ей бессовестно портили заранее подготовленную сцену.

– Какие новости? – Сухо спросила мужа Инга, наливая в стакан мятной воды из кувшина.

– Тебя это вряд ли заинтересует.

– Это почему же?

– Пишут, к сожалению, не о тебе. Сегодня новость номер один – вчерашний концерт Ипполита. Пишут, представь себе, что мой сын – звезда классической музыки.

– И это все?

– Нет, не все. Вот послушайте: «Ипполит Сотников – один из самых востребованных музыкантов. Он отличается от многих молодых своих собратьев необыкновенной манерой исполнения и редкой красоты звуком, – вслух начал читать Алексей Иванович. – Искренность его звучания завораживает буквально с первых звуков. Virtuoz дает концерты на самых престижных площадках мира. Несмотря на молодость, Ипполит Сотников успел сыграть со многими крупными оркестрами и дирижерами. Следующий концерт музыканта состоится уже через несколько недель в Тель-Авиве, куда Сотников отправится по приглашению Израильской филармонии». Ну и так далее.

– Как это мило! – неискренне удивилась Инга. – Кстати, а о чем вы играли вчера вечером? – она обратилась к Ипполиту.

– О чем? – зачем-то переспросил молодой человек. – Разве вы не слышали? В музыке, как и в жизни, речь всегда идет о жизни.

– А вы не слишком-то многословны, – она уставилась на него своими сверкающими огромными прозрачно-зелеными глазами.

– Видите ли, Инга, музыку нельзя рассказать, – будто оправдываясь, неловко начал Ипполит. – Я полагаю, что сухость языка не способна мгновенно и ярко передать, к примеру, вспышки пламени или абсолютное обледенение, которые порождают наши чувства. Словам это не дано, у слов отсутствуют такие оттенки, это под силу лишь музыке, и каждый улавливает в ней что-то свое, что-то про себя...

– Послушайте, я – актриса, и я с вами не согласна.

– Нет ничего глупее, чем спор двух мировоззрений, – сухо вставил Алексей Иванович. – У каждого своя реальность – один видит белое, другой – черное, каждый рассматривает жизнь через призму собственного ума или собственного невежества. Одному близка поэзия, а другому – непристойности. Не так ли, дорогая?

– Вчера немного душил воротничок и дрожали руки, – честно признался Ипполит, пропуская мимо ушей слова отца.

– У вас могут дрожать руки? Отчего же? Вы были взволнованы? – спросила Инга и немного удивилась, услышав вежливый яд в собственном голосе. Откуда он взялся?

– Волнение перед концертом – состояние вполне естественное для музыканта.

– Думала, к вам это не относится, – Инга слегка пожала безукоризненными плечами.

– Почему? Разве я особенный? Я такой же, как все, и когда я перестану волноваться, все тут же закончится.

– Закончится? Что? Наслаждение аплодисментами? Успех у пресыщенной публики? Действие славы с ее буйством страстей? – сама того не заметив, Инга почему-то перешла на вызывающий тон.

Сотников сидел, посасывая косточку от маслины и, к своему вящему изумлению, видел, что его жена волнуется. Когда она по-настоящему волновалась, ее легкий скандинавский акцент заметно усиливался. Она начинала спотыкаться на каждом слове, и Алексей Иванович от этого терялся, он почувствовал себя блуждающим в темной пещере, из которой он не в силах найти выход. Он подумал: наверное, это и называют предчувствием, когда нет никаких серьезных причин для тревоги, а тревога все-таки есть, когда охватывает ощущение неотвратимости, неизбежности краха. Эта мысль была ему крайне неприятна.

– И что же тогда случится? – довольно резко продолжила Инга, словно желая показать, что здесь никто не ослеплен его талантом – она в первую очередь. – Публика от возбуждения

перейдет к отчаянию, увидев, как гаснет ваша звезда? Откуда несомненная уверенность в том, что сцена без вас не обойдется?

– Разве я это сказал? – удивился молодой человек. – Этого я не говорил. Я об этом даже и не думал. Мне кажется, что сцена молниеносно дает оценку любому. На ней случайности долго не задерживаются. И я ей доверяю.

– Доверяете и наслаждаетесь, – не унималась Инга.

– Что, простите?

– Только не отрицайте, что не испытываете наслаждения, когда гипнотически воздействуете на публику! Не поверю!

– Не отрицаю. Толика здорового честолюбия мне не чужда, как и любому музыканту.

– А почему вы решили стать музыкантом? Ваши учителя сулили вам успех?

– Нет, мои педагоги обошлись без сладких пророчеств, – монотонно говорил Ипполит, глядя сквозь арочное окно на желто-зеленую лужайку. – Музыкантом я не стал, а всегда им был, просто не знал этого, пока не взял в руки скрипку. И я чувствую, что готов принять и радости, и трудности, и позор, и успех, уготованные мне сценой. Я уверен, что именно там мое место, на сцене вся моя жизнь.

– В таком случае, я хочу задать вам один не такой уж неприличный вопрос. А как же женщины?

Тут сердце Инги невольно дрогнуло, она попыталась найти оправдание тому, что с ней происходит: «Зачем я спросила его о женщинах? С какой стати? Мыслимо ли вовлекать мужчину в подобные откровенности?» Однако она побоялась прямо и честно себе ответить, что именно с первого взгляда на него ее волновал вопрос: как он утоляет собственные желания.

– Что вы имеете в виду?

– Не прикидывайтесь евнухом, Ипполит, – говорила Инга, пытаясь смягчить свои вызывающие высказывания благопристойным выражением лица. – Вы же молодой мужчина. Или вы тайно храните целибат? Впрочем, все артисты на этот счет не слишком откровенны, они самые настоящие притворщики.

– Ах, в этом смысле... – нисколько не смутившись, ответил Ипполит, – Да, не отрицаю, что люблю женщин, их нельзя не любить, но не думаю, что это тема для обсуждения за завтраком.

Он ответил ей ласковой, чуть смущенной улыбкой, заправляя за ухо неправдоподобно красивые черные волосы. С виду Ипполит был прост в общении, или, может быть, Инге так только хотелось думать, но разговаривая с ним, ей казалось, что она знает его давным-давно, а между тем понимала, что эта видимая простота – просто элементарная воспитанность, и ее не следует воспринимать как проявление мужского к ней интереса. Но при взгляде на молодого человека ее губы непроизвольно вздрагивали.

– А что вы обсуждаете со своими женщинами? – с язвительной улыбкой не унималась Инга, словно играла роль бестактной скандалистки. – Ведь вы же с ними разговариваете?

– По совести сказать, не слишком много.

– А вот это уже не слишком хорошо для вашей мужской репутации.

– Вы меня не так поняли, Инга. Как я уже говорил: на нашем невнятном человеческом языке трудно изъясняться. Я не доверяю словам, иногда даже боюсь слов. Словами люди говорят много пышного и пустого, с их помощью люди лгут, клеветают, оправдывают разного рода мерзости. И если я когда-нибудь решусь поведать женщине о своих чувствах, я исполню для нее Рахманинова... – он задумался, – Видите ли, Инга, музыке дано рассказать нам о чем-то неведомом, но сладостном...

Инга про себя ядовито ухмыльнулась, понимая, что вся эта пустая болтовня, все это юношеское красноречие слишком далеки от реальной жизни, и тем не менее она остро ощутила болезненную иглу ревности. Какой завидной теперь казалась ей участь той таинственной

женщины. В сердце поднялся какой-то шум, то ли любви, то ли страсти, то ли беспричинной надежды, и в оттенках этого шума прямо сейчас было не разобраться. Однако, со свойственным ей беспредельным эгоизмом, Инге хоть и на минутку, но захотелось стать именно этой женщиной.

– Если ваша цель музыка, то она не мешает вам запрашивать гигантские гонорары, – прикладывая к носу льняную салфетку, Инга продолжила презрительный обстрел. – Говорят, ваши концерты влетают в копеечку организаторам...

– Ни в коем случае. Музыка – это не цель, а мое хроническое состояние, – спокойно ответил Ипполит, словно и не слыхивал ни про какие гонорары. – И потом скрипка – самая прелестная спутница жизни, о которой только может мечтать мужчина.

– Неужели?

– Да. Она покорна, понятлива, она всегда тебя прощает и доставляет огромное наслаждение.

– А как же острота жизни?

Неслышанная дерзость была в ее интонации. Зачем она взяла такой тон? Для чего ей хочется заслонить собой не только его вчерашний успех, но и свежесть сегодняшнего утра?

Всеми правдами и неправдами Инга зачем-то пыталась его уколоть, хотя нисколько не сомневалась в его искренности. Какая-то неведомая сила подталкивала ее быть резкой и бестактной. Однако же, видя, что весь облик Ипполита дышит такой всепрощающей добротой, немного устыдилась своих нападков. И тут же его доброта и скромность начинали ее раздражать. Она ничего не понимала в этом молодом человеке, а еще меньше Инга понимала свои чувства. Положа руку на сердце, она не осознавала, что делает: то ли пытается очаровать Ипполита своей наигранной живостью, то ли стремится разозлить его откровенной бестактностью. Такое поведение допустимо для женщины лишь в том случае, если она хочет обратить на себя внимание. А Инга именно этого и добивалась. И потом, если бы какая-то высшая сила призвала ее не грешить против правды, то Инге следовало бы честно признать, что в центр ее системы, вглубь ее порядка ворвался совсем иной мир, иной космос, и что ее потянуло в этот космос, что в ней проснулся интерес к молодому человеку, и он далеко не платонического характера, и что удерживать себя в состоянии покоя ей теперь невозможно. Да, ей следовало бы признать, но... в данную минуту она бы это ни за что не признала. «Нет, ваша честь, ни в коем случае, ваша честь. Никаких тайных умыслов и желаний. Просто обычный завтрак. Разве нет?»

– Ну а как вам «Фиалки в шампанском»? – хвастливо спросила Инга, понижая тембр голоса до протяжной хрипотцы.

– Простите?

– Вы что, не смотрите телевизор?! – голос повысился и стал резче.

– Ах, да, но... видите ли, дело в том, что... – попытался оправдаться Ипполит.

– Ладно, сериалы вы не смотрите, ну а современная эстрада, попса, рок?

– По правде сказать, у меня совсем нет времени...

– Только не изображайте неосведомленность. Нельзя не знать того, что происходит вокруг тебя!

Поведение Инги приняло странный оборот. От возбуждения она буквально ерзала на стуле и крутила в руках апельсин, пытаясь избавиться от кожуры. Ей самой показалось, что застывшие и отвердевшие женские позвонки начали вибрировать и смещаться, рваться и царапаться, как бы делая ей предупредительные знаки. Но она осталась глуха к этим перемещениям и продолжала в том же духе. Чтобы разозлить молодого человека, чтобы как-то его поддеть, она бы охотно спросила, кто такой Рихард Вагнер, если бы не побоялась выглядеть смешно. Быть посмешищем в глазах мужчины не в ее правилах. Уж лучше выглядеть вульгарно, пошло, грубо, но только не смешно!

– Вы скоро улетаете в Тель-Авив?

– К сожалению, да, – Ипполит отвел глаза в сторону.

– Почему к сожалению?

– Не люблю перелеты.

– Вы страдаете фобиями? – вновь ядовито спросила Инга своим хрипловато-медовым голосом, при этом улыбаясь с чуть заметным презрением.

Теперь она неприлично медленно ела апельсин, позабыв о правилах хорошего тона и облокотившись двумя локтями на стол. Яркий утренний свет, проникающий через арочные окна в белую столовую, золотил ее огненные волосы, насквозь их пронизывая. Яркий свет проникал и в апельсин, и в светлую кожу Инги, делая их неестественно прозрачными.

Сотников внимательно наблюдал за происходящим, и оно его порядком раздражало. Его всегда раздражала театрализованная помпезность момента, потому что казалась лживой и безжизненной. Что именно вытворяет его жена? Кого она здесь разыгрывает? Что она пытается скрыть? Он посмотрел на жену с упреком и почувствовал себя отвратительно. Прежде ее хрипловатый голос приносил Алексею Ивановичу блаженное спокойствие и чувство неудовлетворенности одновременно, теперь же этот голос откровенно его раздражал. Настойчивость Инги выводила его из терпения. Что она себе позволяет? Могла бы держать свой сарказм при себе. Зачем она устроила этот нелепый допрос? Что заставляет ее вести себя столь бесцеремонно? Ненависть или обожание? Глаза Сотникова мгновенно загорелись недоверием. Осторожным движением, почти украдкой Алексей Иванович поправил отворот своего синего пиджака, а потом слегка одернул и сам пиджак по боковым швам, да, именно одернул, хотя давно этого не делал. Просто сейчас ему показалось, что пиджак сидит на нем особенно плохо, но он отогнал от себя эту мысль, продолжая наблюдать за женой и сыном.

– Нет, – добродушно, но сдержанно отозвался Ипполит, – не думаю.

– Самая неприятная фобия – бояться быть посредственностью, – Алексей Иванович в свою очередь дерзнул выпустить стрелу, отравленную ревностью.

Инга так взглянула на мужа, словно молния опалила огнем старое дерево. На мгновение она отрезвела, понимая, что сильно распалилась и что ей было бы неплохо остыть. «Что со мной? Почему я веду себя как идиотка? Или это его красота обладает такими пагубными чарами и действует мне на нервы? Что за рок привел его в этот дом?» Она собиралась было улыбнуться, но так скривила уголки губ, будто выпила уксус.

– Хотя с практической точки зрения посредственности – прекрасные исполнители, – как можно равнодушнее продолжил Сотников. – Если б на свет нарождались одни только таланты, не снисходящие до простого тяжелого труда, нам всем пришлось бы туго, и мир стал бы слишком уязвим, не правда ли, дорогая?

– Ты заражён практичностью, – довольно бесцеремонно оборвала его Инга, сложив губы в полуулыбке. – Не находишь?

– Возможно.

Все трое разом замолчали и сидели с лицами, похожими на восковые маски. Настала тишина, и в этой тишине каждый шорох сделался громким. Стало слышно, как часы на буфете нарезают время на равномерные нудные дольки, стало слышно, как тягостно дышат Инга и Сотников и как тяжелый дубовый стул скрипнул под Ипполитом. Еще немного, и станет слышно, как за окном плывут облака.

Алексей Иванович взял со стола льняную салфетку, но, вместо того чтобы вытереть ею рот, сначала промокнул лоб, а потом в нее же нарочито громко высморкался, вероятно желая подчеркнуть, что он простой чернорабочий трудяга и ему откровенно наплевать на присутствующую здесь светскую богему. Ему-то что?

Таисия Николаевна разливала кофе в севрский фарфор и покровительственно поглядывала то на кофейник, то на чашки, то на сдобные булочки, посыпанные сахарной пудрой, и при этом откровенно старалась не смотреть на членов семьи. Тишину нарушало лишь позвякива-

ние чайных ложек. Алексей Иванович не очень понимал, что именно здесь творится, однако же он не был слеп и видел, что творится что-то неладное. За столом царило какое-то неуместное напряжение между его супругой и его сыном. Ему были крайне неприятны эти ужимки, нападки, отведенные глаза, недосказанные фразы, все эти полуулыбочки и тишина. Сотников никогда и ничего не боялся в жизни, но он буквально ненавидел то, чего не понимал, а сейчас он не понимал ровным счетом ничего. Почему Инга так волнуется? Она что, хочет понравиться Ипполиту или же попросту пытается его разозлить? Или это одно и то же? Алексею Ивановичу надоела эта замаскированная этикетом перебранка, эта театральная пляска светотеней, кроме того, он отлично знал, что не собирается разрываться между ними, что-то сглаживая и что-то втолковывая двум взрослым людям. Еще он знал по опыту, что если у женщины нет страданий, нет настоящего горя, то она непременно их выдумает, и в них же кинется с головой, особенно если эта женщина – актриса. Для нее разница между правдой и ложью очень невелика.

Да, это был далеко не самый приятный завтрак в жизни Алексея Ивановича. Стараясь не проявлять признаков раздражения и досады, он медленно встал, подошел к резному буфету, похожему на музейный экспонат, открыл дверцу и протянул руку к дремлющим там всевозможным бутылкам. Чем бы себя утешить? Вино он не любил, от вина он пьянел, а от коньяка и водки его рассудок становился ясным. Алексей Иванович решил остановить свой выбор на золотистой бутылке с дорогим коньяком, что было более чем неуместно за завтраком и чего он всячески избегал, особенно в последнее время. Избегал, но не сегодня. Сегодня Сотников налил основательную порцию в коньячную рюмку и, устало прикрыв глаза, выпил ее одним глотком. «Превосходно, – сказал себе Алексей Иванович, почувствовав в горле теплый французский коньяк, – вот так-то лучше. Все-таки напрасно спиртное называют злым зеленым змеем. Где же здесь зло? По совести сказать, алкоголь – это вовсе не зеленый змей, а добрый верный пес, лежащий у ног хозяина, и его следовало бы не бранить, а возблагодарить за преданность. Алкоголь – это надежное, быстродействующее лекарство от всех потрясений, от всех проклятий, обид и отчаяний, это самый настоящий тайный сообщник, способный скрасить любое скучное сборище, сделав его более остроумным и привлекательным. А разве нет? В конце концов, алкоголь – это поддержка и опора профессиональных мыслителей и интеллектуалов, не говоря уже о простых рабочих людях. Кто скажет, что это не так?! Ну и напоследок, алкоголь – это наш давний друг, который утешает нас без всякой лишней болтовни».

И Сотников, несколько не смутившись, не говоря ни слова и не удостоив никого даже кратким взглядом, вышел из столовой. Все сделали вид, что ничего не произошло. За ним поспешно проследовал Ипполит, а Таисия Николаевна с невозмутимым лицом опять взялась за чашки севрского фарфора.

* * *

– Я помогу вам убрать со стола, – неестественно ласково сказала Инга, хотя в отношениях между хозяйкой и работницей никогда не было ни сердечности, ни искренности. То ли из-за разницы в возрасте, то ли по другим причинам, не лежащим на поверхности, женщины не стремились сближаться.

За девять лет жизни бок о бок в одном, пусть и огромном, доме Инга испытывала самые разные чувства по отношению к домработнице. Поначалу та, со всей ее чопорностью и этикетом, была Инге безразлична, словно скучный предмет из другой эпохи. После безразличия у молодой хозяйки появилось некоторое снисхождение к домработнице, ему же на смену пришло банальное женское любопытство, которое, в свою очередь, периодически сменял самый неподдельный интерес к этой замкнутой женщине. В последнее же время потребность в общении у энергичной Инги была продиктована необходимостью выговориться, излить кому-либо свои чувства, а то и доверчиво открыть душу. Одинокая Инга Берг жаждала поделиться с кем-

нибудь своим внутренним бурлением, она невольно искала подругу – в надежде, что ее откровенность не будет ложно истолкована.

Таисия же по своей природе казалась немногословной, нелюдимой, и Инга поначалу даже предположила, что ее молчаливая загадочность – это следствие недостатка интеллекта или незначительного словарного запаса, но, внимательно приглядевшись к домработнице, послушав ее краткие высказывания, мгновенно отмела эту версию. К тому же в Таисии обычная ее стыдливая любезность порой сменялась какой-то совершенно бесстыдной резкостью, заметной даже невооруженным глазом, и это было только одной из странностей таинственной мизантропки. Слишком часто глаза Таисии казались уставшими, чтобы проявлять интерес к этому миру, но временами она производила впечатление мудреца, умеющего читать по звездам, и это всерьез пугало Ингу.

– Нет нужды, дорогая, я и сама прекрасно справляюсь, – взгляд домработницы едва скользнул по черному школьному платью Инги, – не тратьте времени попусту.

– А почему вы много лет служите здесь, в этом доме, Таисия Николаевна? – как можно любезнее спросила Инга, продолжая сидеть за столом и крутить в руках кожуру апельсина. Почему она задала этот вопрос спустя целых девять лет? Что заставило ее спуститься с высот кинодивы и хозяйки дома до жизни скромной домработницы? Кого Инга искала в Таисии – собеседника или слушателя? Или, может быть, кого-то еще?

– Поверьте, дорогая, судьба порой оказывается безжалостным противником, и именно она заставляет нас жить так, как мы живем, а не так, как нам бы хотелось. Именно она вынуждает нас заниматься тем, чем мы бы никогда не занялись по собственному желанию. Но должна признаться: в этом доме я нашла покой и уединение, кроме того, – добавила она, смахнула салфеткой крошки со стола и начала собирать ножи, вилки, ложки, – Алексей Иванович был всегда безупречен по отношению ко мне.

– Правда?

– Именно так.

– А чем вы увлекались в юности, Таисия? – неловко спросила Инга, пытаясь хоть как-то завязать разговор.

– Я была увлечена игрой, – неожиданно ответила домработница.

– Неужели? Вы были актрисой? – оживилась Инга.

– Увы, моя дорогая, я была увлечена другой игрой. И отнюдь не театральные подмостки приводили меня в восторг, а зеленое сукно... – женщина восхищенно улыбнулась своим воспоминаниям, что-то затеплилось в глубине ее холодных зрачков, но тут же погасло, – зеленое сукно – этот символ русского фатализма, по нему во все времена волнующе струились деньги, мысли, чувства, а иногда, представьте себе, и жизни. Так вот, я была ярой почитательницей этих волнений... Правда, все это далеко в прошлом... Поговорим о чем-нибудь другом.

– О чем же? – искренне растерялась Инга, не зная, что бы еще спросить. – А почему... а почему вы не вышли замуж?

– О, не уверена, что это было необходимо. Правда, многие женщины от двадцати до шестидесяти пяти предпочитают замужество. Они целиком и полностью отдают себя в распоряжение мужчин, которых не любят, терпят их сопли и слезы, принимают их дурной характер и потакают их болезненно высокому представлению о себе. Такие женщины тратят ничтожно короткий отрезок, что зовется жизнью, на скуку и раздражение в обществе мужа. Ну что же, понять их можно: всю жизнь при деле, всю жизнь пристроены. О себе могу сказать, что я никогда не относилась к их числу.

– А как же любовь? Только не говорите, будто не знаете, что это такое.

– Любовь... – Таисия нахмурила лоб, будто пыталась что-то вспомнить. – К счастью, мне удалось избежать этой неприятности. Скажу вам по секрету, дорогая, я всю жизнь страдала природным бессердечием.

– И что же, вы совсем никогда...

– О, нет-нет, ничего подобного, я не была одинока и жила вполне по законам природы. Мужчины иногда заглядывали, чтобы засвидетельствовать свое почтение даме. Впрочем, мое прошлое было довольно скучным. К тому же, милочка, я не имею болезненной склонности ностальгически предаваться воспоминаниям, то и дело извлекая из памяти полинявшие лики своих несбывшихся надежд.

– Но разве вам совсем не хотелось любить?

– Инга, любовь – это ведь не то, что на каждом шагу под ногами валяется – бери не хочу. Там, бесспорно, много что валяется, но ничего путного, как правило, не попадается, и любовью это не пахнет. И потом, то, что мы хотим, порой не имеет никого значения из-за неосуществимости. Не так ли, дорогая? – Таисия бросила на Ингу снисходительно-сочувственный взгляд со странным металлическим отблеском.

Инга заметила этот блеск и внутренне поморщилась, словно на нее взглянул человек с железным сердцем.

– Видите ли, чем меньше мы встречаем взаимности, тем сильнее влюбленность, и наоборот. Кажется, так? Впрочем, оставим это... Но, в отличие от вас, Инга, я вполне счастлива.

– Счастливы? – крайне удивленно переспросила Инга. – А что же такое по-вашему счастье?

– Да что это с вами сегодня, голубушка? У вас какое-то особое настроение, – она сделала ударение на слово «особое», – или вам дурно?

– Нет, благодарю, я вполне здорова.

– Тогда что это за неуместная тяга к философии? А счастье, в моем представлении, – это согласие между человеком и его судьбой, если вам будет угодно.

– Вы в этом уверены?

– Боже ты мой, да что на вас нашло? Хотите чая с чудесными успокоительными травами? Я сейчас же приготовлю.

– И все-таки, – Инга умела быть настырной.

– Я уверена только в том, что ни в чем нельзя быть уверенной. Но посудите сами, вы третья жена у Алексея Ивановича, а третьей быть всегда непросто.

– При чем здесь мой муж? – Инга удивленно округлила глаза.

– А разве речь сейчас не о нем? – в свою очередь удивилась Таисия. – Две жены... уже жили в этом доме и допекали вашего мужа. Мы из деликатности не упоминали о них, но это вовсе не означает, что их не было. Они были, и... – она запнулась, а потом как-то странно сказала, – и много лет жизни ваш супруг провел в их обществе, влюблялся, расставался, рядом с ним эти две женщины проливали слезы и, как две змеи, все здесь опрыскали ядом. Так что у вашего супруга славное прошлое, и прекраснейший Ипполит Алексеевич хоть и ангел, но далеко не небесного происхождения, уверяю вас. И зачат он был именно в этом доме.

– Подумать только, – растерянно прошептала Инга, словно это была для нее настоящая новость.

– После двух жен, дорогая Инга, мужчины редко смеются, да и семейное ложе уж больно истоптано. Не замечали?

– Мой муж – прекрасный человек, – не слишком уверенно она вступилась за супруга.

– В чем же его прелесть?

– Он умен, – быстро выпалила Инга первое, что пришло ей в голову.

Инге стало неловко за этот разговор, причем неловко перед собой. Она впервые почувствовала себя нелепой приспособленкой, никчемной содержанкой, к тому же без гроша за душой. Ей захотелось оправдаться хотя бы для себя самой, но она прекрасно понимала, что из любых слабостей и пороков при желании можно вывести целую философию и еще откровенно

возмущаться теми, кто ее не разделяет. Коротко говоря, этот нелепый разговор, да и нелепая домработница определенно действовали Инге на нервы, хотя она сама же разговор и затеяла. Прерывать его она тоже не решалась, во всяком случае до тех пор, пока не поймет, куда клонит Таисия.

– Согласна, дорогая, ум – это чудесное приобретение, но не диковинка для мужчины. Есть ли что-нибудь еще?

– Не пойму, к чему эти вопросы?

– Видите ли, дорогая, иногда мы перестаем замечать, что лжем сами себе.

– Вы о чем? Если уж на то пошло – он щедрый. На свете не так много мужчин такой породы, – Инга почувствовала некоторую странность в собственном поведении, она говорила так, словно извинялась перед домработницей за свой выбор мужа.

– Конечно, еще не перевелись мужчины, которые время от времени, так сказать в перерывах, между амбициями и собственными причудами, вспоминают о своих женщинах, беспокоятся о них и служат им опорой, – довольно равнодушно заявила Таисия, но чуткое ухо Инги все-таки уловило едва различимые нотки непонятной жесткости. – И есть женщины, выходящие замуж по причинам, гораздо менее достойным уважения, чем им самим кажется. Такие женщины слишком часто рассматривают жизнь в объятиях своих мужчин как надежный источник дохода. Не так ли, голубушка?

– Я не могу этого знать... я никогда не думала об этом... я не придавала этому значения... по слабости или по усталости...

Сейчас Инга не слишком покривила душой. Разумеется, она знала, что жизнь в браке без любви безнравственна и мало чем отличается от прелюбодеяния, знала и то, что люди отдают себя друг другу за деньги и удобства. Таких браков в своей жизни она насмотрелась пруд пруди, но почему-то никогда не считала себя к ним причастной. Словно к ней это не относилось. А оказывается, что она и сама... Эта банальная истина, этот дешевый вывод не просто обеспокоил Ингу, а напрочь лишил равновесия, какая-то защитная оболочка слетела с нее, и она оказалась не в силах лицедействовать.

– Понимаете, Таисия, что-то во мне не ладится... или разладилось... и я не знаю, как об этом сказать... – лепетала Инга неловко.

– О, не отчаивайтесь, такое случается. Зачастую между женщиной и блаженным удовольствием существует некий барьер, делающий это удовольствие невозможным. Причем у каждой женщины этот барьер свой. Вы это хотели сказать? – беззастенчиво произнесла домработница. – Боюсь, в вашем супруге, как в любом старике, нет сока молодости, ничто уже не будоражит его кровь, его больше не переполняет жизнь, в нем давно умерло желание безумствовать. И я нахожу это досадным. А вы, милочка?

– Старике? – рассеянно пробормотала Инга. Казалось, это простое слово довело ее неловкую растерянность до предела. Говорить о физической стороне этого супружества Инга не смела, ее сдерживала стыдливость, но ей почему-то показалось, что Таисия прочла ее мысли.

С необыкновенной ясностью Инга Берг вдруг осознала, что ее муж действительно довольно старый, пресыщенный и изношенный мужчина. Много лет своей жизни он открыто и честно шел своим путем от одной женщине к другой, от одного увлечения к другому, от одной мечте к другой, преодолевая препятствия, царапаясь о шероховатости и острые углы собственных страстей, желаний и пороков. Скорее всего, сначала он летел за этими страстями на крыльях беззаботной юности, потом, как молодой гончий пес, бежал, наслаждаясь собственной гибкостью и силой, потом он шел спокойно, не спеша, вкушая аромат мужской зрелости... А что потом? Стоит ли говорить, что было потом? Более чем отчетливо Инга поняла, что к ней он уже буквально доползал осунувшимся и лысеющим, правда, с энтузиазмом и обаятельной самоуверенностью, с весьма тугим кошельком, а также с хорошим вкусом и умом, присущим только перезрелым мужчинам.

Много лет Инга разрывалась от безденежья и усталости, много нескончаемых лет молодая актриса Инга Берг металась между нуждой и съемками, а по ночам рвала на себе волосы от безысходности. Тогда она мечтала о роскоши, теперь она ее получила. И что? Заодно, в придачу, она получила чересчур обходительного старого супруга, связавшего ее по рукам и ногам этой своей въедливой обходительностью. Довольно часто Инга вспоминала то время, когда жизнь в доме, подобном этому, казалась ей недостижимым счастьем. Теперь же это счастье пришло, но только радости от него почему-то не было.

Вообще говоря, половина человечества (если не большая его часть) несчастна. И несчастны эти люди потому, что не сумели найти счастья в законном супружестве. В остальном же они прекрасны, трудолюбивы, законопослушны, честны и добры; вот только узаконенная любовь и честная жизнь озлобили их с годами, сделали по-настоящему равнодушными, заставили плакать, но плакать потихоньку, чтобы соседи или знакомые ни о чем не догадались. Так стоит ли их за это корить? Виноваты ли они в том, что их бунтующая кровь, их чувственность не удовлетворяются сытым счастливым устоявшимся супружеством?

Сама Инга была верна мужу, и не столько из соображений порядочности, сколько потому, что некие внутренние надзиратели наложили замки на ее мысли и чувства, они же сделали из нее образцовую, правда, скрежещущую зубами от злости жену. Честная жизнь требует от людей сил и отваги. А где же их взять-то? Так ли уж необходимо хранить верность тому, кого не любишь? «Да и зачем ее хранить? – спрашивала себя Инга. – Чтобы еще сильнее озлобиться?»

За последнее время супруг ее сильно сдал, хотя сам он этого не замечал, но Инга видела это отчетливо и не переживала по этому поводу. Подробности мужского старения не вызывали в ней особого интереса, гораздо прискорбнее было осознавать, что уже много лет она не ощущала сладости прикосновения молодого мужского тела (рабочие объятия с потасканным лове-ласом Димой Смайликом, разумеется, в расчет не идут).

Инге стало холодно в ее школьном платьице, захотелось спрятаться, но не в шелковой спальне-шкатулке, а в горячих человеческих объятиях, захотелось согреться, укрыться, чтобы поскорее забыть прелестный загородный дом вместе с его обитателями, дом, в котором она прожила целых девять лет. И если раньше Инга не позволяла себе сетовать на одиночество, то теперь она имела полное основание себя с ним поздравить. С болью Инга осознала, что жизнь со стариком лишила ее многих радостей женской доли.

Внезапно тишина заполнила уши Инги Берг. Этот разговор ее доконал, и у нее достало сил лишь для того, чтобы выдавить из себя банальность:

– Как бы там ни было, к чему драматизировать? Лично я по натуре оптимист и жизнелюб. Остальное мелочи, ведь так?

– О, разумеется, дорогая, разумеется, – Таисия несколько раз утвердительно и более чем равнодушно кивнула головой. – Только не забывайте, когда женщина утрачивает свое велико-лепие, оптимизм исчезает сам собой. А теперь, если не возражаете, я вас покину.

«Все это так же оптимистично и жизнерадостно, как гравюры старика Доре», – довольно сдержанно подумала домработница, выходя из столовой на террасу через стеклянную дверь. Там она все также равнодушно и буднично подхватила волосы платком, надела резиновые перчатки и, вооружившись садовыми ножницами, принялась умирять разметавшиеся кусты сирени.

* * *

IX век. Эфанда

Избушка дряхлого сгорбленного Трезара находилась в лесу, далеко от княжеской усадьбы, и была словно укутана мхом и плесенью. Трезар предпочитал жить одиноко, в глухом

буреломе, подальше от мирской суеты, от людских глаз и шума. Жил он там, где сухие стволы древних дубов и вязов растрескались от времени, а их могучие переплетенные корни на два с лишним локтя выступали из земли и преграждали путнику дорогу к избушке. Сам Трезар был слишком стар, вшив, хромоног, подслеповат и много повидал в жизни, а потому не пугала его мертвая тишина леса, дикие звери, густые заросли, не боялся он разной поганой нечисти, как живой, так и мертвой. По тайным лесным тропам, поросшим мхом и перепутанными высокими травами, ступал сгорбленный Трезар с пастушьей сумкой, ловко приволакивая свою хромую ногу. Из избушки он выходил на восходе и на закате, с привычной проворностью лесного жителя, опираясь лишь на палку.

Он разбирался в разных травах и кореньях, знал толк в соцветиях в пору созревания пыльцы и в пору отцветания. Длиннобородый, седовласый, с обвислыми усами Трезар понимал, как лечить колики и бородавки, от каких трав можно почувствовать внезапный прилив сил, какие снимают боль с тела, а какие с души, какие туманят голову или усыпляют, а какие, наоборот, разжигают страсть. Имелись у него и травы, которые могли призвать чудесное видение, но были и травы, от которых впадали в безумие. Колдовал Трезар над мускусом и амброй, привезенными из-за морей, готовил ароматические масла для женщин и лекарства для больных лошадей. Многие ходили к нему за советом и за снадобьем, да не всякому помогал дряхлый телом Трезар. Все, что он делал, – делал бескорыстно, то ли из благожелательности к людям, то ли от страха прогневить богов и утратить свой дар.

Рано утром, едва первый луч небесного светила коснулся высокой сочной травы, едва слышалось первое хлопотливое птичье чириканье, новгородский князь Рюрик с низким просительным поклоном переступил порог избы Трезара. Сразу за порогом, в сенях лежали старые облезлые шкуры да раздробленные черепа и кости, в самой же избе стоял терпкий, удушливый запах гуттаперчи и какого-то варева, под потолком в вязанках висели сухие травы. Стреха же так прохудилась, что сквозь нее просвечивало небо, у бревенчатой стены была земляная лежанка, устланная старой прогнившей соломой. Князь едва заметно ухмыльнулся, поправил замысловатую металлическую фибулу на своем багряном плаще, неглубоко вдохнул и гадливо поморщился – вонь стояла невыносимая. На большом потрескавшемся пне, поеденном жучками и служившем хозяину столом, лежали ветки крушины, волчьего лыка и засушенные лапки куропадок.

– Это что у тебя тут за тын из черепов? – с порога начал князь, стараясь дышать пореже, чтобы скоро не задурманивалась голова.

Князь был уже в зрелых годах, но выглядел молодцом. Его внешность в аккурат подходила к его характеру. Это был настоящий властитель – мужественный и сильный, ширококостный, с хорошо развитым телом, как у многих славян, с умным взглядом под кустистыми светлыми бровями, карими глазами и темными ресницами. Уверенные очертания его вольных губ прятались под моложавой бородой и усами. Длинные с проседью волосы прикрывали небольшие остроконечные уши. Правый глаз князя слегка подергивался – отчасти оттого, что он когда-то повредил его в битве с викингами на драккарах, но отчасти и оттого, что князь злился – правда, иногда, время от времени он это прodelывал нарочно, когда хотел показать кому-нибудь свою злость или нерасположение. Много власти имел князь в своих руках, много воинов состояло у него на службе, и все подчинялись ему беспрекословно. Что-то было такое в его наружности, что мешало его послушаться.

– А ты зачем ко мне пожаловал, князюшка хольмградский? – спросил старик, и его черные глаза лукаво сверкнули из-под заснеженных обвислых старческих бровей. – Али сердцушко твое что-то гложет? Али так, погутарить?

– Поворожи-ка мне, Трезар, – без малейших колебаний, честно и твердо ответил князь. – Тебе дано заглядывать в будущее, вот и погляди, чего там.

– Дано-то, дано, да к чему тебе ведать грядущее-то? – замялся сгорбленный старик.

– Хочу знать, суждено ли народиться сыну моему на свет? Али на мне все и оборвется?

– К чему заботы такие, да еще на заре?

– Ты, старик, дело говори, а не вопросы задавай, – грозно сказал Рюрик, насупив кустистые брови и поджав волевою нижнюю губу. – Расширились земли, мне подвластные, нет больше вольности на моей земле в племенах, нет послушания, есть защита моя надежная от врагов пришлых. Ужо много зим, как основал я городище Новгород, да крепость возвел вокруг селения. Забыл я про вече, потому князь я самодержавный, а не посадник. Много земель у меня теперь, много. Ильмень и Волхов, и Белоозеро теперь мое, и Муром, и Полоцк, и Ростов. Правлю я разными народами, и приильменскими славянами, и кривичами, и весью, и мерею, и мурою. Разрослось Новгородское княжество.

– Разрослось княжество, говоришь? – переспросил старик, будто бы не услышал. – И что ж с того, что разрослось?

– Так немолод я ужо – вот что! Потому вижу я, как зимы губят мои волосы. Вот и боюсь, что кости мои скоро заболят, – исподлбья глядя на старика, отвечал князь, – дух захворает, впаду во мрак безумия, ноги мои согнутся, сила уйдет из рук... Вместе со мной отойдет и мой род... И что тогда? Кто землю беречь станет? Многие стремятся завоевать мои земли, забрать у меня Ильмень, чтоб иметь выход к морю. А коли чужеземцы набегут? Чужеземцы станут господствовать, облагая мой народ данью?

– Э, владыка, – натужно вздохнул Трезар, – все человеческие хвори, все страхи, вся немощь от слабости духа. Ты не бойся их, хворей-то, гони от себя прочь мысли дурные.

– И что же дальше будет?

– А вот то и будет, – сказал старик. – Хорошо будет. Под счастливой звездой ты родился, князь, ты духом-то вон как силен. Еще долго сердце твое будет биться любовью к юным девам, не скоро еще остынут ласки твои мужские.

– Чего разболтался-то зазря, старый? Я про сына тебя спрашиваю, а ты куда лезешь?

Само собой разумеется, у князя было много детей от рабынь и наложниц, но худародные да приневольные женщины в расчет не идут – они не могут производить на свет княжеское потомство, потому о продолжении рода тут и речи нет.

– Ох, и горазд же ты кругом командовать, князюшка хольмградский, – замылся старик, почесывая вшивую голову. – Не волнуйся ты так и норов свой буйный попридержи покамест. Мы и не таких молодцов видали. Нас не застращаешь. Вот прогоню тебя под зад мешалкой, так будешь знать.

– Ну, ладно-ладно, – уже более миролюбиво сказал князь.

– Говорю тебе: сын твой на свет народится, и будут тебе покровительствовать и небесные и земные законы, и будут долго потомки твои в грядущем княжить. Силен твой род, князь, и будет он пользоваться неограниченной властью. Будут потомки твои, в соболях да горностае, неумолимо вершить судьбы человеческие.

– Ты поведай лучше, древний старик, откуда ему взяться, сыну-то моему? – невесело спросил князь. – Ведь две жены отделились от меня, сделались мне чужими. Сыновей они мне не принесли и уже не принесут. Давно я не навещаю в их светелки. Нет во мне больше прежней жажды, потому нечего и утолять. Есть у меня пасынок – Аскольдушка, но пасынок – это чужая кровь, чужое семя, это не наследник.

Князь сказал правду, он действительно охладел к женам, к этим некогда восхитительным всадницам, стремительно ворвавшимся в его жизнь. В свое время они были красивы и плодотворны, но сыновей зачать не смогли. Первую жену он никогда не любил, взяв ее за себя будучи восемнадцати зим от роду. Теперь же она вошла в преклонные лета, совсем иссохлась и уже более не занимала его помыслов. Свою вторую жену князь любил крепко, но и она раньше срока изнасилась, поблекла, да и к тому же тронулась умом от ревности. Князь хоть и освободил

дился от чувств к ней и в клеть ее уже не закахивал, однако оставил в доме при себе на полных хлебах и, как мог, заботился о ее благополучии.

Охладел князь и к наложницам: одни его постаревшие наложницы быстро подурнели и превратились в теремную прислугу, другие же ушли на поселение в деревню. Это, конечно, не означает, что князь остался совсем один. Вовсе нет. В доме жили и молодые наложницы, к которым он нередко навещался, и они знали, как его ублажить, но теперь и они мало интересовали князя. По правде сказать, Рюрик и сам был удивлен безразличием своей плоти. Как это ни странно, но, несмотря на довольно большой жизненный опыт в сердечных вопросах, ему хотелось совсем иного, не обычного безропотного рабского подчинения... Хотя он и понимал, что у женщины не может быть ни мужской силы духа, ни мужских мозгов. И все равно ему хотелось говорить с женщиной глаза в глаза, о сложном и простом, о сокровенных тайнах природы и своих собственных, воспламениться и остывать, и снова воспламениться.

Его огромная усадьба была наводнена женщинами, и все они были в его распоряжении, и тем не менее князь был одинок. Постельные утехи лишь поначалу вызывали в нем жажду откровений, со временем же эти утехи приедались ему и порождали устойчивое внутреннее спокойствие, а потом и вовсе переходили в отчужденность. Возможно, оттого-то князь и охладел ко всем своим женщинам.

– погоди ты, молодец решительный, раньше времени на прошлое оглядываться. Ты лучше вперед погляди.

– Что ты хочешь сказать?

– С приходом новой жены расцветет в тебе жизнь, князь, вот увидишь. Как родниковые воды вырываются на поверхность высохшей реки, заполняют ее своим торопливым бурлением, затопают своей горячностью. Так и ты...

– Новой жены? – перебил его князь.

– У урманского конунга Кетиля, говорят, дочь-красавица в самый возраст вошла, – старик лукаво засмеялся. – Подумай, князюшка, подумай. Породнишься со скандинавами, станешь им свояком, возьмешь царевну юную за себя, двух зайцев враз убьешь: и сыном обзаведешься, и положишь конец набегам варваров-викингов. Глядишь, уймутся ненасытные их пасти, не станут они нападать по ночам, горящими стрелами землю твою терзать, рубить дружину твою, брать пленников, да делать из них рабов подневольных, не будет твое богатство к ним перекочевывать. Да и люди престанут исчезать в кровавом кошмаре. Лучшую жену трудно себе и вообразить.

Задумался князь, нелегко было слушать речи эти. Урманская княжна! Видел он эту княжну в прошлом году на празднике урожая и даже перекинулся с ней парой словечек. Что сказать? Действительно красавица из красавиц, к тому же из видного рода, но только стар он для нее. Она еще цветок нетронутый, едва из детского возраста вышла, а он уж весь заскоруж давно, зашершавел да инеем покрылся, не сегодня – завтра зубы терять начнет. Как ему, такому тучному и старому, свататься к дитю малому?

– А ежели я ей противен буду, что тогда?

– Это ничего, владыка, это не страшно, что противен. Стерпится – слюбится.

– Ну, вот, я тебе правду говорю, а ты меня обухом по голове, – князь впери́л в старика суровый взгляд.

– Правду, кривду... – вздохнул старик, – я ему дело, а ему хоть кол на голове теши... Ты женщин-то сердцем постигаешь, а ты бы, молодец, почел их умом. Говорю тебе: хороша девка, и приданое за дочерью конунг даст, не в одном исподнем женку-то возьмешь.

– Не след тебе подстрекать меня к новой женитьбе, старый ты колдун.

– А ты не прогневайся, князюшка, а вот послушай: угоден твой род богам, как въяве вижу – угоден. А чтобы продлить его, чтобы сына-то прижить, надобно...

– Ладно-ладно, – Рюрик повысил голос, и правый глаз его начал слегка подергиваться, – я и без тебя знаю, что для того надобно. Воля богов – для меня первейший закон. Не хочу, чтобы на меня пало проклятье Одина. На все я готов ради будущего своей земли, ради власти своего рода. Ладно. Поживем-увидим.

– Кто рожден в последний день полнолуния – тот любимец богов, – не отставал старик. – И не пасынок, а сын родной – плоть от плоти твоей, семя от семени твоего – явит миру свою власть и будет им править. Умрет тело твое, князюшка, но дух твой, подобно зоркому соколу, всегда будет над землей славянской парить.

– Мой дух над землей парить будет, говоришь? – Рюрик задумался. От тяжелых зловоний начинала кружиться голова. – Не хватил ли ты через край, а, старый? И надо ли мне верить твоим предсказаниям?

– Верить или нет – это твое дело, а все они над тобою исполнятся. Разные времена грядут впереди – и разорения, и набеги, и густые клубы дыма будут клубиться над твоей землей, и лязг оружия она услышит, и опустошения испытает. И будет биться народ твой с врагами не на живот, а на смерть, будет биться и победит. Но и вижу я в тумане грядущего, как будет крепнуть земля твоя, как будет она цвести, как будет сильна духом, грозна, богата и широка. Никого на свете сильнее родины твоей не будет, князь. Все закланные враги заботятся славянской силы духа.

– Слава могучему Перуну, – задумчиво шепнул князь.

– Твой род будет великим... – старик запнулся, будто подбирая слова, – но и великим не все дозволено. Запомни это, князюшка хольмградский.

– Что не дозволено? Чего это мне не дозволено?

– Единый иудейский бог-миротворец говорит нам о добродетели...

– Да не заводи ты эти песни, старик, – шикнул на Трезара Рюрик. – Это бог иудейских нищих, а у нас свои боги, и мы их любим, и им поклоняемся, и будем только им поклоняться. И никто не смеет нарушать заветы старины, даже ты, колдун. Понял?! С этими заветами мы наладились на свет, с ними же и померем.

– Уйми свою гордыню, князюшка, и спесь свою сбей, а головой своей подумай: возможно ли сердцу человеческому жить без добродетели, – снова затянул Трезар.

– Отрадны речи твои для сердца моего, старый ты колдун, – не обращая внимания на последние слова Трезара, сказал Рюрик. – Расскажи, старик, как ты это делаешь?

– Э... – хитро улыбнулся колдун, тряся длинной жидкой бородой, – Дух человеческий имеет свои священные тайны, и не всякому, ох, не всякому они открываются.

– А тебе? Тебе открываются?

– Зачем тебе это знать, владыка? Я долгий век прожил, поживи с мое, и ты будешь видеть многое насквозь.

– Зачем ты в лесу живешь? – неожиданно спросил князь. – Не страшно ли?

– А чего мне пугаться-то? Я пуганный-перепуганный, и лес не враг мне, а союзник. Мы с ним едины – я часть его, он часть меня.

– Говорят, ты с нежитью водишься, с шишигами разными знаешься. Говорят, что змей приваживаешь, как собак, их с руки кормишь.

– Пусть себе говорят, владыка, – усмехнулся беззубым ртом Трезар, – мало ли кто чего скажет, что же теперь – всякому слову верить?

– А зачем людей дичишься?

– Покой... покой...

– Что покой?

– Стар я уже, князюшка, глаза мои слепнут, клей из них сочится, а покой, он ум мой очищает, силы мне упорядочивает. Не для меня вся эта ваша жизнь суматошная. Тишина да размышления – вот что мне треба. А где их взять-то, коли не здесь, не в лесу?

– Здесь, в диком лесу, в жалкой хижине? – усмехнулся князь.

– Молод ты еще, князюшка, глаза твои зрячи, а потому многого и не видят они. В диком лесу и есть все чары... – он взял ветку крушины и помахал ею перед глазами князя. – А силой мечты, силой духа хижина может превратиться в прекрасный раззолоченный храм – вместилище сосредоточенности, замкнутости и покоя; недовольство же духа способно любой храм разрушить, превратить его в хижину. Запомни, князюшка, не все то золото, что снаружи сверкает, а есть то золото, что и внутри...

– Научи меня! – загорелся князь, притопывая ногами по влажному земляному полу. – Научи меня, чудак-отшельник! Я еще силен и несколько лет жизни готов отдать, лишь бы понимать то, что...

– Охолони трошечки, князюшка, – перебил его согбенный старик, подняв вверх иссушенную руку с чудовищно длинными черными ногтями, – чтобы познать лишь некоторые тайны бытия, и целой жизни недостаточно. А что касается силы... – старик нарочно помедлил, как бы умиряя княжеский пыл, – то на свете есть кое-что могущественней, чем сила богатырская да палица в человеческий рост.

– Что же именно? О чем ты говоришь?

– Мудрость, – спокойно ответил старец, – мудрость, князь. Супротив нее богатырям не бороться, и кулаки супротив нее и копья острые будут бессильны.

– Обучи меня мудрости, старый ты кудесник! Научи, как истребить всех врагов? – вскричал князь взволнованно.

По сморщенному иссиня-желтому лбу Трезара скатилась крупная капля пота, но Рюрик этого не заметил.

– Я тебе вот что скажу: береги ты себя, князь, и береги род свой. Истребить всех врагов невозможно, запомни, один издох – двое других появилось, – старик судорожно хрустнул пальца ми. – Береги себя, князь. Ядовитые травы вянут в самую по следнюю очередь, а благородные травы быстро чахнут на солнце. Подумай о сыне своем кровном, хорошенько подумай и о княжне молодой. А не надумаешь – так пеняй на себя.

Как долго князь пробыл в избушке кудесника с ее одуряющими запахами, он не имел понятия, но, когда вышел от Трезара и затворил за собою дверь, от ночи не осталось и следа, давно занялся день. Негромко посыпая ругательствами, князь стал выбираться из лесных чащобных зарослей на свет. Голова его шумела, как хмельная, он все никак не мог прийти в себя от зловоний. Однако под плащом играло крепкое молодецкое тело, и князь чувствовал, что рожден на свет, чтобы вершить судьбы, чтобы его воля беспрекословно выполнялась. Рюрик и его род станут повелевать другими, и никогда, и никому не позволят повелевать собой. И не то чтобы бредни старика запали ему в душу, но сейчас князю казалось, будто бы он знал про это всегда. «Ладно, – подумал князь, – женюсь, а там видно будет». На самом деле князь давно держал в уме да на примете ту маленькую княжну с белоснежной кожей и рыжими бровями, и его сердце почему-то все чаще и чаще екало. Одно воспоминание о ней вызывало в нем странное смятение, а сейчас Трезар своими черными перстами лишний раз все разбередил. «К чему такие неудобства?» – недоумевал князь. В прошлый раз эта малышка вроде бы говорила о Боге, и в ее словах сквозила мудрость не по летам. «Ладно, – вновь сказал себе князь, – уж коли того требует род и боги, то нечего и артачиться».

Небо тем временем совсем побелело, небесное живительное светило уже всюю радовало землю длинными теплыми лучами, верхушки деревьев купались в их отблесках, небесно-синие воды Ильменя струились между песчаных и каменных берегов. Было видно, как по золотистому дну промеж солнечных бликов снует мелкая проворная рыбешка – головастики-заморыши, а сама гладкая поверхность отражает сочную зелень пушистых сосновых ветвей, растущих вдоль берега. Где-то невдалеке слышался шелест лиственницы, раскатистый крик каких-то птиц, а от самого воздуха и земли исходило что-то такое едва уловимое, что заставляет почувствовать, как жилы наливаются этим самым воздухом, соком земли, что-то такое, что

заставляет поверить в бессмертие славянского духа, соединенного воедино с величием, с вечной силой родины.

Избушка вещуна Трезара осталась далеко позади, и князь убедился, что голова окончательно прояснилась от ее варева. Теперь он поспешно двигался вдоль берега к своей усадьбе. Рыбаки в небольших стругах буднично удили рыбу. От быстрой ходьбы у князя горели щеки, а душа горела от осознания своего высокого предназначения.

* * *

Князю действительно врезался в память тот праздник урожая. Тогда отец урманской княжны, конунг Кетиль, принимал новгородского князя Рюрика с почестями, как дорогого гостя, потчевал его напитками да угощениями. День был погожий, посреди двора стоял огромный пожинальник, как и положено в такой праздник. Молодые ладные девушки с тугими косами и подкрашенными углем бровями держали в руках своих мотанок да крупеничек-зерновушек из ячменных колосьев и водили с ними хороводы. Мужчины тут же бражничали, сдували пену, пили медовуху, притопывали ногами, затягивая быстрые плясовые. Хороводы то нарастали, то постепенно распадались: одни молодые девушки вставали парами, гуськом друг за дружкой, скрещивали над головами березовые ветки, а другие девушки в пояс склонялись, приподнимали подола, обнажая тонкие красивые щиколотки, быстро пробегали под этими ветками и становились парами. Юная урманская княжна Эфанда тоже была среди них. Игрцы звонко затягивали древнюю сагу:

*Веселятся в палатах
Вошны с конунгом.
Не спешите, ратники могучие,
Свое войско покидать.
Садитесь, молодцы, на суда
Боевые да быстроходные,
Берите древки в руки крепкие
И идите против вражьей рати
Да покройте громкой славой
Имена свои.
Не то память сокроет их
Во прах и забвение...*

Рюрик подошел ближе, чтобы получше разглядеть княжну. Совсем юная, рыжеволосая, стройная и грациозная, подвижная, как лисица. Как тут не залюбуешься? Князь любовался девушкой, глядя на ее ровную осанку и природное изящество. Она была ослепительно хороша, а Рюрику казалась настоящей красавицей. Эфанда же, заметив, что новгородский князь безотрывно на нее смотрит, сама набралась смелости, вышла из цепи девушек и встала в сторонке, чуть поодаль от князя. Запыхавшись от волнения и хороводов, она выглядела особенно милой. На ней было новое платье зеленого цвета, расшитое мелким речным жемчугом, такого же цвета головная повязка с височными кольцами и деревянные башмачки без каблучков с суконными завязками. Поверх платья красовалась короткая накидка, отделанная мехом куницы, которая скрывала тонкие руки чуть ниже локтя. Юная княжна видела, что князь хочет поговорить с ней, но не решается, оттого-то сердце ее взволнованно всколыхивалось, сжималось в комок, словно ему угрожала опасность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.